
Б. Темирязев
(Ю. Анненков)
Любовь
Сеньки
ПУПСИКА



Salamandra P.V.V.

Б. Темирязев
(Ю. АННЕНКОВ)

ЛЮБОВЬ СЕНЬКИ ПУПСИКА

Несобранная проза

Salamandra P.V.V.

Темирязев Б. (Анненков Ю. П.)

Любовь Сеньки Пупсика: Несобранная проза. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 162 с.

Все, что делал замечательный художник Юрий Анненков (1889-1974) – будь то живопись или графика, книжные иллюстрации или театральные декорации, костюмы для кино или мемуары – было ярким и талантливым. Такой же яркой и талантливой была и проза Ю. Анненкова, которую художник писал под псевдонимом «Борис Темирязев». В книге впервые собраны рассказы Анненкова 1920-х годов; впервые переиздается повесть «Тяжести» (1935-1938). В приложении – автобиография Анненкова, написанная для сборника «Старые – молодым» (1960).



ЛЮБОВЬ СЕНЬКИ ПУПСИКА

Несобранная проза

ЛЮБОВЬ СЕНЬКИ ПУПСИКА

1.

Хулиган Сенька Поярков, кличка «Пупсик», уже давно чувствовал себя не в своей тарелке.

Сенька был вполне классическим хулиганом: драная солдатская шинель, матросская блуза, шапка с лентой «Андрея Первозванного», плотно влизанный в лоб до самой брови черный локон и густые волосы на груди, тщательно расчесанные на пробор. Биография тоже была не менее законченной. Родился Сенька от охтенского рабочего. Отец — порол, мать — порола; Сенька вопил благим матом и накапливал злобу. Потом — три класса городского училища, подбитые носы, «стенка» в Графском скверике за цирком Чинизелли. Еще позже — мастеровщина, завод, пьянство в «Белом слоне», ночные прогулки с девчонками по охтенским пустырям и болотам и надо всем — озорство и мордобой.

«Белый слон» служил одновременно и университетом и храмом искусства: там проходил Сенька высшую школу взломов и котовства, а гармонисты играли «Манчжурские сопки». «Манчжурские сопки» трогали Сеньку за самое сердце, и ничего не знал он более возвышенного и прекрасного. Впрочем, знаком был Сенька еще с портретом Джоконды, по папиросным коробкам, но она ему сильно не нравилась — рылом не вышла. Страстно — после «Сопок» — любил Сенька заборную литературу своего пригорода. Заборы — кирпичные и досчатые, с битым стеклом наверху и с гвоздями, цветные и просто грязные, с липкими улитками по фундаменту — были фоном, основным пейзажем детства Сенькиного и юности.

Озоровал Сенька всласть, но без веских причин. Когда мировой спросил его, зачем он выбил стекла в бакалейной лавке, Сенька ответил просто, поглядывая поверх судьи:

— Интересовался.

Во второй раз, после избиения банщика Вахрушева, пояснил:

— Извиняюсь, борода не понравилась.

Когда же судился за кражу кошелька в трамвае, то сказал:

— Захотелось и спер.

В шестнадцатом году забрили Сеньку — и на фронт. Дрался он неплохо, но без охоты — смыслу не было. А в январе семнадцатого, ночью, в звезды, в Большую Медведицу, дезертировал Сенька с фронта.

В феврале распласталось над Питером красное полотнище, заметались по улицам грузовики, раскрыв глушители, и весело стало трепаться на вольном весеннем воздухе! Пупсик вылез из подполья, нацепил красный бант на груди и пошел поджигать Литовский замок...

Однако, к осени стало Сеньке скучно, а в начале ноября он почувствовал себя окончательно не в своей тарелке.

В понедельник вечером стоял Сенька Поярков в толпе на Загородном проспекте и глядел вместе с другими, как проходила красная гвардия, неся победу из-под Гатчины. Народ молчал, смотрел с опаской и любопытством. Рабочие, придерживая винтовки, шли тоже молча, хмурые, серьезные. На грудях, на штыках, на повозках вспыхивали красные лохмотья. Вдруг, когда прошли главные колонны, в самых последних рядах увидел Сенька своего приятеля, Пашку Голикова, по кличке «Кулёк» — и тогда по спокойным его шагам, по уверенному и равнодушному взгляду, по пулеметным лентам вокруг пояса, сразу понял Сенька, что не только в красных бантах дело.

Наутро во вторник явился Сенька на призывной пункт, а в среду — в теплушке с матросней, с перелетной шпаной, с красной гвардией (самосожжение, жертвенный пыл, авантюра и песни) катил на юг. Осенний, мокрый сквозняк будоражил классический чуб на лбу.

—————

2.

Воевал Сенька с отличиями, на совесть.

С Антоновым ходил по Украине, с Буденным брал Ростов. Кидали Сеньку и против Деникина, и против Колчака, и против Врангеля. Исколесил Сенька добрую треть России, изматерил поля и степи и вернулся в Питер героем и завхозом.

Имел в подчинении кладовщика, счетовода, машинистку, уборщицу и лошадь. Целый штат. Порядок завел образцовый. Сочинял, как мог, служебные записки и доклады, выступал, как умел, на собраниях, прекратил ругаться и стал человеком. Носил чистый френч, и пробор на груди не расчесывал. В коммунальную баню ходил по субботам.

Утром уборщица Дуня, даже — товарищ Дуня, выметала полы, собирая окурки потолще... Питер революционный, красный город, дом за домом поедающий самого себя! Пятиэтажные железные скелеты; двери, повисшие в воздухе и еще не попавшие на растопку. Рыбьи глаза в кипятке, лошадиная падаль на хлопкожаре, пайковые годы, зарытые в снега, в голод, в надежды.

Уборщица Дуня ставила в угол метлу, когда входил кладовщик, открывая присутствие.

Если случались в коридоре, где выдавали паек — селедку, махорку, хлеб с понилесепкой и мыльный порошок, — галдеж или ругань, появлялся завхоз из кабинета и солидно урезонивал:

— Граждане! Не проявляйте силу воли, здесь вам не Порт-Артур!

Кладовщика сделал ответственным за безобразия. Кладовщик повесил в коридоре объявление: «Товарищей посетителей просют не выражаться. Товарищ заведывающий складом страдает штрафами».

Жизнь налаживалась: Сенька был доволен, и Сенькой были довольны. Девчонками он не занимался, только приволокнулся было за Дуней, да та отшила. Впрочем, нравилась ему машинисточка, но к ней подойти не смел.

И вот однажды, на собрании, когда завхоз, великолепно балуясь колокольчиком, давал отчет, — на задних скамьях кто-то тихо, но явственно обронил:

— Пупсик.

Сенька побледнел, но сдержался и не подал виду. Но назавтра, в уборной на стене, прочитал то же самое слово:

— Пупсик.

Тогда он озверел и решил выследить. Честная жизнь, которая так пришлась ему по вкусу, сознание власти, авторитет в глазах машинисточки — все могло рухнуть от одного слова «Пупсик». А слово это, проклятое слово, все чаще становилось на его дороге. Дошло до того, что в коридоре начал насвистывать кто-то мелодию «Пупсика»; но там пропасть толкалось народу, и Сеньке долго никого изловить не удалось.

Наконец, много дней спустя, в неприсутственный час, услышав за дверью ненавистный мотив, ринулся Сенька в пустой коридор и столкнулся с глазу на глаз с машинисткой. Как ни был раздражен Сенька, все же он в один миг сообразил, что машинисточка, худенькая и тихая, здесь не при чем, что надписи в уборной только вызвали в его памяти песенку и что с прошлым Сеньки Пояркова это посвистывание ничего общего не имеет.

Машинисточка испуганно взглянула на завхоза. Сенька тоже впервые в жизни почувствовал робость, оторопел, смешался.

— Всецело прицелился, но, между прочим, мимо, — пробормотал он в смущении.

Машинисточка весело засмеялась. Засмеялся и Сенька. Так произошла первая частная, не деловая их встреча.

3.

Зимние ночи в Питере — темные и глухие. Смешливые милиционерки болтаются на перекрестках. Метет снежок, покручивает, посвистывает. Шагает прохожий с пропуском

— обязательно посреди мостовой, так безопаснее. С честным лицом — прямо на милиционерку, чтобы не заподозрила.

Под завхозным одеялом, в прокуренной комнате, душно и плохо спится. Мелькают походные дни в голове, оторванные руки и ноги, буйная радость побед, митинги у проволочных заграждений, интернационал. И с самого дна, с глубины далекой и томительной, выплывают «Манчжурские сопки» — сладостный, трепетный отзвук. Сенька влюбился, полюбил до самозабвения машинисточку.

Машинистка была из буржуазненьких, и это придавало особую, ядовитую прелесть любви. В ее маленькой комнате, на комодике, стояли фотографии папы и мамы, живших за границей, а на стене — Москвин в роли царя Федора и гимназическая подруга Люся Артамонова в новой шляпке.

Становился Поярков при встрече с девушкой нежен, как ребенок, сам себя не узнавал и все чаще просил ее к себе в кабинет для работы. Недели через три, вот так же — во время занятий, подошел он к ней со спины вплотную и заглянул через плечо. Худенькие пальчики, запачканные лиловым, быстро прыгали по клавишам.

— Стукай, девушка, стукай! Птичка моя голубая, выстукивай! — прошептал он.

Великая лирика внезапно захлестнула с головой Сеньку Пупсика. Плакало, пело, ныло мучительно у Сеньки под ложечкой, и стук Ремингтона был для него прекраснее даже «Манчжурских сопок». Не помня себя от восторга и нежности, он обнял машинистку за голову, примял к себе и поцеловал в губы...

Еще через несколько дней в завхозной комнате, на железной кровати, сидели вдвоем Сенька с машинисточкой. Кончался керосин к утру в кухонной лампе. Сенька растягивал до отказа, сжимал отчаянно забытую свою гармонь и пел, прикусив цигарку, скрученную из «Правды»:

«Возле Питера, на окраине,
Я в убогой семье родился

И мальчонкою, лет пятнадцати,
На кирпичный завод нанялся.
Было скучно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За веселый гул, за кирпичики
Полюбился мне этот завод».

В передышках поглядывал ласково на девушку и покровительственно говорил:

— Вы, милая барышня, в общем, не беспокойтесь. Буржуазное ваше происхождение, конечно, минус, но мы все покрыть можем.

Машинисточка плакала.

4.

«Эх, яблочко, куды котишься? Покатилось раз — не воротишься!»

Работала гармоника.

Покатился Сенька Поярков вниз со ступеньки на ступеньку во весь разгон своей хулиганской души. По ордеру из жилотдела раздобыл машинистке бесхозную квартиру, коврами государственными устлал три комнаты, бехштейновский рояль поставил, затребованный будто для клуба молодежи, понавез мешки с крупчаткой и с рафинадом на целый год и пришпилил к дверям охранную грамоту.

— Живи, чирикай, пташка любимая! Пей чай в накладку, сколько влезет!

Подкатило Сеньке к самому горлу счастье, утонуть в счастье можно!

Машинистка переехала в новую квартиру; переехали вместе с ней папа с мамой, Москвин и Люся Артамонова. Еще портрет Ленина Сенька привесил — на всякий пожарный случай.

Текли дни и ночи, краснели глаза от бессонницы, издергалась вконец гармоника, пролетели сквозь пальцы ор-

дера и наряды на шубу, на ботинки, на чулки, на дрова и на сладости...

Но всякому чуду конец бывает. Пришел как-то Сенька к себе в кабинет, позвал кладовщика и тут же учуял особым чутьем, по запаху что ли, по каким-то несказанным фразам, что будет неладное. Не выудил в свое время того, кто обронил на собрании слово «Пупсик», как собаку не пристрелил из нагана!

В ту же ночь на квартире с бехштейновским роялем спешно сматывались узелки. Машинисточка беспомощно топталась по ковру, много раз принималась плакать от страха и жалости и все уговаривала ехать вместе, все обещала Сеньку с папой, с мамой познакомить. Пупсик только рукой махнул.

На завхозных санях, с узелками под полостью, осторожно ехали мимо охтенских пустырей, мимо Лесного, через Юки к финляндской границе. Еще с детства Сенька помнил все пути и дороги, где, что и как. Вез, спасал, вызволял свою любовь, драгоценность, сокровище! Там, в лесу, словно и не было революции. Осыпался черный снег с еловых веток, тихие скрипы дрожали в воздухе. В правой руке холодные вожжи, левой — обхвачена теплая шубка. Вот за эту шубку, за эту притихшую девчонку, единственную, самую лучшую в мире, был готов Сенька Пупсик на всякий подвиг в черном притихшем лесу, в черных снегах.

Привязали лошадь к дереву, шли пешком через сугробы. Набивался снег в ботинки, леденил, кусал коленки, побагровевшие, должно быть, досиня, падал сверху за воротник и не таял. На второй версте поднял Сенька машинисточку на руки и так донес до Сестры-реки и поставил снова в снег только на другом берегу, за границей.

Кончилось Сенькино счастье, глубокая радость уплывала в черную, настороженную, пограничную ночь.

— Теперь катись, моя циночка, катись пока что.

Обцеловал всю — глаза, губы, шубку, до кончиков бот, — в руки пачку казенных червонцев сунул и сбежал вприпрыжку вниз на речной лед.

Машинисточка пошла с узелками по финскому берегу до первого патруля, а Сенька вернулся к себе в район на завхозной лошади.

5.

Приехал товарищ с кобурой на боку, прошел без доклада в кабинет завхоза и поставил вопрос ребром: не знает ли чего товарищ Поярков про Сеньку Пупсика, хулигана с многими отсидками. Уходя, забрал книги с отчетностью и велел завхозу следовать за собой. В коридоре поджидали конвойные. Кладовщик обидно усмехнулся.

— Заноза! — крикнул ему Сенька.

— В чека наговоришься, охтенский шкет, — огрызнулся кладовщик.

Пайковый хвост скулил у подъезда. Небо было коричневым. Советский день начинался в снегу и в тумане.

Одним словом, на этот раз Сенька густо всыпался. И про ковры узнали, и про Сестру-реку и про все узнали. Режим в России не прежний — нынче покруче будет. Канителятся до поры до времени, а конец — один. Все это отлично понимал Сенька Пупсик и даже не думал выкручиваться.

Плюнул.

На суде, как полагается, потребовал обвинитель для Сеньки высшей меры наказания. Возражений не встретилось. Сенька произнес:

— Как по профессии есть я максимальный безбожник, то в Царствие Небесное, извиняюсь, не верю. А все-таки случай какой интересный может и там представиться... Случаев везде вагон. Высшая, так высшая, товарищи судьи, плакать не будем.

Постановлением суда человека вывели в расход.

В камере Сенька сказал комиссару:

— Не омывши, швырнете. Захоронение вполне гражданское. Дозвольте раньше в баньку сходить.

— Вшей отмоешь — черви сожрут, — пошутил комиссар.

Оба посмеялись. Но в баню сходить дозволили.

А на рассвете, когда воздух был еще холодным и сизым, Сеньку вывели за город. Удивительный иногда воздух бывает за городом; ах, какой бывает иногда под Питером удивительный воздух!

Сенька был спокоен, совершенно безразличен к тому, что происходило с ним и вокруг него. Таким его и к стенке поставили, хотя, собственно, стенки никакой и не было, а так просто — кочка какая-то. У стенки Пупсик заговорил еще раз:

— Смерти, братцы, мы никогда не боялись. Сади, куды попало. Только дайте сперва человеку вид принять.

Это были последние слова хулигана Сеньки Пояркова, кличка «Пупсик», впоследствии завхоза. Он глубоко распахнул рубаху и встал в свободную, размашистую позу. Густые волосы на чисто вымытой груди были тщательно расчесаны на пробор.

Вспомнил было девчонку и тут же забыл навсегда.

В полдень, в казарме, полюбопытствовали у начальника отряда особого назначения, водившего к стенке, про Пупсика. Начальник ответил:

— Дай Бог каждому: с фасоном помер.

Вот и все.

ДОМИК НА 5-ОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

1.

Город Растрелли, Томона и Воронихина, город светлых колонн и холодных фронтонов — прозрачен и синь в снегу, коричнево-желтый в туманы.

Под мутным блеском Адмиралтейской иглы, в розоватом сверкании заиндевевших дерев, отдыхает верблюд Пржевальского. Вдоль Александровского сада сгрудились, столпились оранжевые вагончики трамваев. Вожатые, похлопывая рукавицами, приплясывают у костров, гогоча и толкаясь. Шумливыми стайками прыгают по снегу воробьи, важно похаживают голуби.

По свистящим рельсам побегут вагончики мимо дворцов, колонн и соборов, мимо ампира и классики великих зодчих, по горбатым мостам — на Петербургскую сторону, на Васильевский остров, на Крестовский, на Пески, к Лавре, к заставам, развозя по домам коллежских асессоров, учителей, бухгалтеров и приказчиков.

Там, за Невой и за Невками, в стороне от торжественных парков и министерских подъездов, от театров и арок, увенчанных барельефами и чугунными квадригами, — рассыпались среди бесконечных заборов, вперемежку с кирпичными кубами доходных домов, одноэтажные творения неизвестных строителей — Сушкиных, Пяточкиных, Струмиловых, Доремидонтовых, Галкиных, Свищевых.. Деревянные домики теплом и уютом резных наличников, кисейных занавесок и лиловых фуксий смягчают величественный холод чиновного города. Имена петербургских подрядчиков не вошли на страницы архитектурных исследований в пышные ряды Фельтона и Ринальди, Гваренги и Росси, Кокорина, Стасова и Захарова, но чуткий слух петербуржца с равным восторгом погружается в созвучья и тех, и других имен.

Дворцы и домишки, монументы и вывески мелочных и казенных лавчонок, мрамор кариатид и тоска полинявших заборов — неотделимо дополняли друг друга: особый, единственный, неповторяемый вид питерского — санкт-петербургского — архитектурного симбиоза...

Домик на 5-ой Рождественской был, как и все такие домики, одноэтажным, облицованным досками грязно-бурого цвета, на кирпичном полуподвале. Четыре тусклых окна по фасаду, в середине — подъезд с неглубоким навесом, по углам — водосточные трубы. Три шага по мосткам до забора и больше ничего. Раз в пять лет, в духоту июльских дней, когда в городе пахло смолой торцов и асфальтов, а небо белело от штукатурной пыли, железная крыша домика становилась нестерпимо зеленой, и домик весело смотрел на прохожих, как гимназический дядька в новой фуражке с блестящим околышем. Но к весне, освобожденная от липкого снега деревянной лопатой, крыша принимала обычный серый, заплаканный вид.

Маленький домик на 5-ой Рождественской жил своей тихой и мирной жизнью, прислонясь к ржавой кирпичной стене шестиэтажного соседа. Находись этот домик не на Песках, а где-нибудь на Петербургской, можно было бы утверждать, что он перешел к своим последним обитателям по прямой линии от Порфирия Пселдонимова. Обитателями домика были:

Иван Петрович Петушков, помощник счетовода в страховом обществе «Россия». Племянник Петушкова, «молодой Петушков», Василий Васильевич, игравший в оркестре на второй домбре. Дядя с племянником жили наверху, направо.

Напротив, по левую сторону, помещалась Текла Балчус, прачка, прослужившая двенадцать лет у баронессы Шлагге и теперь ходившая стирать по домам, и сын Теклин, Стасик, обучавшийся столярному ремеслу.

Полуподвал занимал сапожник Трофим Антонович Седякин с женой Грушей и ребятишками: Ленькой, Нюткой и Ксюткой.

На заборе у калитки висел кусочек жести, вырезанный в форме сапога и окрашенный в черный цвет.

2.

Иван Петрович Петушков, помощник счетовода в страховом обществе «Россия», вступал в тридцатый год своей жизни, когда горькое пламя неразделенной любви опалило его. Он был беден и застенчив. Она блистала красотой, розовая уроженка Череповца. При встречах, он млел и вздыхал понапрасну. Огромный запас нежности и любви не находил выражения. Разве не правда, что наиболее чистые, платонические и бескорыстные движения мужского сердца расцветают только в постели? До этой, самой нравственной и патетической, минуты, которую многие склонны истолковывать по-иному, мужчина остается тюремщиком своих чувств.

Сколько образцов героизма и других добродетелей потеряло человечество благодаря жестокостям неразделенных вожделений!

Когда безнадежность любви стала для Петушкова очевидностью, он понял, что лучше выбросить в сорный ящик ненужные запасы чувств, чем держать их в одиночном заключении, — и прекратил свидания с румяной череповецкой уроженкой, стараясь избегать даже случайных встреч.

Именно в этот решительный день он впервые произнес известное свое изречение:

— Спокойствие, спокойствие, спокойствие!

Петушков подолгу взвешивал слова, прежде чем облечь в них нужную мысль, и потом любил повторять удачную фразу в подходящих случаях. Человеческая жизнь представлялась представлялась ему чем-то вроде менделеевской таблицы: мысли, чувства, переживания были разбиты на отдельные рубрики, из которых, по мере надобности, извлекались необходимые формулы.

Потерпев неудачу в печальной истории с череповецкой красавицей, Петушков решил остаться холостяком, пуще всего опасаясь общества женщин. Неслышно и безрадостно шелестели странички календарей, сутулилась спина, осыпались на голову годы пудрой седин. Петушков старел, не имея биографии, над счетами страхового общества «Россия», окруженный цифрами бухгалтерских книг и особым запахом ветоши, напоминавшим запах пожелтевших книжных страниц и нафталина.

Одиночества не нарушил даже племянчик Вася, переехавший на 5-ую Рождественскую после смерти отца, Василия Петровича Петушкова. На короткий срок грустные звуки Васиной домбры пробудили, казалось Ивану Петровичу, нежные видения прошлого, но недели через две домбра перестала быть грустной, а вскорости сделалась невыносимой и назойливой, как июльские комары. Однако, будучи человеком корректным и деликатным, Иван Петрович не выказывал своего неудовольствия; даже в тех случаях, когда к племяннику вваливались подвыпившие приятели, наполняя квартирку нестройным звоном десятка балалаек, Петушков только запирался в своей комнате, закладывал вату в уши и ложился на кровать.

Его единственной привязанностью сделались книги, но чтение их отличалось некоторым своеобразием. Человеку двадцатого века, прошедшему курс пяти классов коммерческого училища, Ивану Петровичу уже не казалось чудом, что из отдельных букв слагаются какие-то понятия, чему дивился некогда примитивный Петрушка; однако, еще менее, пожалуй, интересовался Петушков содержанием прочитанных строк. Служивший в молодости корректором в «Вестнике страхования», он сохранил на всю жизнь пристрастие к этой давней своей профессии. Читая (что бы ни читал), он следил исключительно за работой наборщика, старательно вынося на поля книги корректорские закорючки. Дочитав последнюю страницу, Иван Петрович с удовлетворением потирал руки, приписывал карандашиком «готово к печати» и тотчас забывал о прочитанном навсегда.

Петушков привык к своему одиночеству, как другие привыкают к жене и детям. Как все, умеющие привыкать, он был вполне доволен жизнью; напившись чаю, отправлялся утром в страховое общество «Россия», по вечерам читал печатные труды и в новый год заходил с визитом к бухгалтеру. Одиноких таких старичков можно было немало отыскать в деревянных домиках Петербурга. На исходе шестого десятка лет переселялись они в богадельню какого-нибудь Святого Матфея Апостола и навсегда исчезали там.

Соседи говорили, будто Иван Петрович Петушков жил на 5-ой Рождественской со дня своего рождения. Но это неверно: Иван Петрович квартировал здесь всего сорок четвертый год.

3.

Революция, как все великое, началась с пустяков: просто на углу Суворовского проспекта, т. е. как раз наискосок от деревянного домика и хлебопекарни Пискарева, Текла Балчус, во главе длинной очереди, стоявшей за хлебом, вздумала бить стекла. Многие месяцы полуголодный и грустный хвост, выраставший к утру у стеклянных дверей хлебопекарни, ворчал и бранил всех — от царя и до пекаря — за невзгоды жизни, за войну, за плохой и скудный хлеб. Блюститель режима, городовой Макар Дорофеич Стопкин, разъяснял, как умел, положение вещей, угрожал, покрикивал, отводил в часть, — и никакой революции не было. А в это холодное февральское утро, когда вдруг зазвенели стекла, Стопкина на посту не оказалось. Посмотрели за углом и даже заглянули в подворотню, — нету Стопкина, Стопкин сгинул. Так с тех пор никто и не видел Стопкина.

Звенели, осыпаясь, пискаревские стекла, блюститель режима отсутствовал и это была революция.

Все последующее явилось лишь ее углублением, все от станции Дно, через людоедство на Волге, до мавзолея Ленина, все то огромное и еще недосказанное, перед чем за-

трепетала человеческая история.

Революцию сделала Текла Балчус. Впрочем, она не оценила величия совершенного ею действия. Историческое битье стекол в хлебопекарне Пискарева и все дальнейшие события она приравнивала к замене китайского чая желудевым, к мороженой картошке, к отсутствию дров. Текла всю жизнь была прачкой, и потому знаменитая фраза о кухарке, управляющей государством, к Текле прямого отношения не имела. Очагом социального совершенства по-прежнему представлялся ей особняк баронессы Шлагге, где Текла прослужила двенадцать лет. Ежедневно к фриштику и к обеду получала она тогда традиционную прачкину рюмку водки, как бывала когда-то традиционная трубка художника. Вечером, в своей комнате, побранив для порядка белобрысого Стасика, Текла ставила самовар. К чаю заходила баронессина судомойка и присаживалась к столу, чтобы перед сном позевать в хорошей компании. Текла выпивала чашку за чашкой, прихлебывая с блюдца, и тоже зевала.

— Которую пьешь-то? — удивлялась иногда судомойка.

— Свои пью, без счету, — отвечала Текла.

Душевное ее равновесие находилось в полной устойчивости. Незаметно подрастал Стасик. Шушукались на полках тараканы. Поблескивали гири стенных часов, улыбался над столом портрет Иоанна Кронштадтского, хоть и была Текла католичкой. Баронесса ежегодно высылала на кухню к Рождеству билеты в Народный дом, и Текла даже просмотрела раз «Пиковую Даму»...

Но вдруг, поболев с недельку, умерла баронесса Шлагге, отказав особняк со всей его движимостью своей племяннице. Племянница продала имущество покойной баронессы и укатила в привислянский край, а Текла переехала в домик на 5-ой Рождественской. Тогда-то и началась война, за войной пошли очереди, битье стекол в хлебопекарне Пискарева, волынские солдаты, опять война. И всему причиной была смерть баронессы.

Стасик тем временем подрастал и вырос окончательно. Серые глаза смотрели остро и неласково. Волосы были сделаны из стружек, которые отбрасывал рубанок Стасика в

столярной мастерской. Стасик мотался по митингам, пропадал ночами и не разговаривал с Теклой. Но как-то раз, выслушав ее рассказ о баронессе, сказал:

— Дура ты, мать, и баронесса твоя — сука, а Иоанн Кронштадский сукин сын.

Стасик говорил спокойно и деловито. Это не было вспышкой раздражения или гнева, это было законченным мировоззрением. Текла ничего не нашлась возразить и только проворчала: «ишь, бывши зажравши», сознавая в то же время всю несправедливость своего упрека.

Однажды вечером, у Финляндского вокзала, нетерпеливо волновалась особенно многолюдная толпа. Из ее черных недр, над винтовками сумрачных матросов, вздымались кубы броневой машины. Сойдя с перрона в лиловый холод прожекторов, взгромоздился на стальную спину Ленин, снял кепку, обнажив пудовый лысый череп, и произнес:

— Товарищи!

Стасику показалось, что ему раскрыли грудную клетку и вложили в нее это тяжелое, шершавое слово. В ноябрь он пошел на фронт. Прощаясь, Текла кинулась к Стасику с поцелуями, но он сердито отстранил ее ласки.

— Дай хоть погладить тебя, сынок, на прощанье! — ревела Текла, шлепая мокрыми от слез губами.

— Ты не утюг, а я — не кальсоны, — заявил Стасик, вскинул на плечи пальтишко и вышел вон...

Революция углублялась.

Крутили снеговые метели, сравнивая тумбы с мостовой. В сугробах плавали черные точки людей, галдели на перекрестках папиросники. Гимназисты пили денатурат, нюхали кокаин и скопом занимались любовью, отгоняя голод и страх безумием самогонного веселья и темными поцелуями. Ласкали друг друга, закладывая в ноздри проэфиренную вату и торопливо ложились в постель со случайным знакомым ради животного тепла, ради капелек пота под одеялом. Росли ночные миражи; в гардеробах качались удавленники; за окнами гремел интернационал.

Обитатели домика на 5-ой Рождественской вместе с соседями разбирали помаленьку на топливо деревянные ча-

сти недостроенного пятиэтажного дома, что насупротив: терпеливо, как муравьи, дощечку за дощечкой, паркетинку за паркетинкой.

Ивана Петровича Петушкова рассчитали на службе, отставили в сторонку, как отжившую социальную прослойку, и выдали ему продовольственную карточку третьей категории. Василий Васильич побренчал на домре, напевая пригожие куплетцы:

Я на бочке сижу,
А под бочкой каша,
Не подумайте, жиды,
Что Россия ваша...

потом, в одно ничем не примечательное утро, ушел из дому, не захватив даже домбры, и пропал без вести...

По весне девятнадцатого года приехали в Питер с фронта приятели Станислава Балчуса, зашли к Текле и сказали:

— Действительно, был твой Стасик, мамаша, да весь вышел: белые вздернули!

4.

Дольше других вещей, слишком год, продержалась Васина домбра. Но когда и домбра ушла за два фунта пшена, Иван Петрович пополнил словарь своих изречений, сказав однажды вслух самому себе:

— Человеку невозможно прожить с одной продовольственной карточкой третьей категории.

Изречение было тем более справедливо, что у людей, получавших последнюю, четвертую, категорию, под половицами лежали бриллианты.

Продумав новую истину до конца, Петушков решил немедленно перейти к практическим выводам. Надев пальто, он перетянул его шнурком от бывшей гардины и отправился на Михайловскую улицу. Там, прислонясь к подно-

жью гипсового водолаза, украшавшего собой подъезд магазина резиновых изделий, Иван Петрович снял шляпу и протянул ее вперед.

Справа, на площади, накапливались трамваи. В пять часов, когда закрывались присутственные места, около трамваев выстраивались хвосты. Человек прилипал к спине другого человека, и очереди быстро росли, охватывали кольцом Михайловский сквер, перекидывались через мостовую, тянулись до Невского и по Невскому до костела. В серой вечерней мгле медленно ползли бесконечные, темные гусеницы, нанизанные на невидимую нить люди, безмолвные, ушедшие в себя и нагруженные мешками. Вдоль очередей толпились нищие.

— Спасибочко вам, граждане, на вашем сознании!

Слепые и зрячие, больные и здоровые, опухшие и тощие, безрукие и безногие, поэзия и проза...

— Цыпленок вареный, цыпленок жареный
Один по Невскому гулял...
Я не обмеривал, я не обвешивал,
Я только птичий комиссар...

— Гражданин инженер и восточная красавица, пожертвуйте на трест голодранцев!

— Когда помру я, когда скончаюсь,
Тогда в могилу меня мамаша отнесет,
И, быть может, раннею весною,
Соловей-пташка пропоет...

— Поддержите жертву социального каприза!..

Когда-нибудь о нищих великой русской революции будет написано специальное исследование. Священники, торгующис спичками; графини, продающие фамильные биде; беглый взломщик, выдающий себя за пострадавшего учителя; дети с печатью старости и порока на лицах; бесстыдная и жестокая демонстрация увечий; открытые напоказ культяпки и язвы; паноптикум, оживленный на улице; клей-

кость взглядов, маскарад и бред уже вдохновляют своего бытописателя.

Некий знатный иностранец, обозревая Петербург, остановила гостеприимно предоставленный ему Наркоминделом лимузин на Михайловской площади, у трамвайной очереди. Сначала, как надлежало иностранцу, он выразил недоумение, затем недоумение сменилось улыбкой, улыбка перешла в смех, за смехом последовал хохот. Иностранец был тучный и красный, в руках у него дымилась сигара, в заднем кармане брюк лежала вогнутая фляга с портвейном. Хохот, не прекращаясь, стал душить иностранца, вызвал хрип и судороги кашля; шея начала синеть. Тогда иностранец снова вошел в автомобиль и отбыл в неизвестном направлении.

Потом иностранца чествовали представители трудовой интеллигенции. Седой ученый говорил:

— Вы едите вот эти котлеты и эти пирожные. Но вы не знаете, что для нас теперь котлеты и пирожные еще больший аттракцион и большая притягательная сила, чем встреча с вами, чем даже ваша сигара. Вы видите нас, благополучно наряженных в пиджаки. Посмотрите, среди пиджаков затесался даже один смокинг. Но вам никогда не придет в голову, что многие достойнейшие не пришли сюда из-за отсутствия пиджаков, и что ни один из нас не рискнет сейчас расстегнуть жилет, ибо под ним нет ничего, кроме грязного рванья, когда-то, может быть, бывшего бельем...

Речь седовласого ученого приближалась к истерике. Наступило тягостное молчание, так как никто не был уверен в соседе, но все предвидели дальнейшую участь оратора. Тогда сорвался со стула молодой и пылкий литератор и закричал в лицо иностранцу:

— Передайте там, в вашей Англии, передайте вашим англичанам, что мы презираем их, что мы ненавидим их! Звериной ненавистью мы ненавидим вас за вашу блокаду, за нашу кровь, за казни, за ужасы и голод, за то, что с высоты наблюдательной башни вы хладнокровно назвали сегодня «любопытным историческим экспериментом»!

Говорившего пытались остановить, но он уже не мог сдержать себя.

— Слушайте, вы, спокойный и красный! — кричал он, размахивая вилкой, — запомните, вы, английская знаменитость, что запах нашей крови еще прорвется сквозь блокаду и отравит ваши каменные идиллии!

Иностранец хотел вежливо возразить обоим ораторам, но, отвечая, перепутал фамилии. Ораторы взаимно оскорбились, и между ними произошло бурное объяснение, во время которого их ближайшие соседи съели по одному лишнему пирожному...

Иван Петрович Петушков не принадлежал ни к одной из перечисленных категорий нищих, т, е. он не был слеп, не состоял членом треста, не умел петь на морозном воздухе, не располагал фамильной посудой и не чествовал знатных иностранцев. Он молчаливо стоял у подъезда магазина резиновых изделий, заколоченного досками, и протягивал шляпу.

Сколько раз в день приходилось ему выслушивать нравоучительные указания на то, как позорно клянчить, что надо идти работать (кто не работает, тот не ест), что в пролетарском государстве нет места бездельникам, что деклассированную сволочь пора швырнуть за борт истории. Петушков привык к таким фразам, как скрипач привыкает к аккомпанементу рояля. Школьники дергали его за кисточку от бывшей гардины; девочки с Невского, смеясь, предлагали ему погреться в подворотне, задирая юбки до живота; хлопья мокрого снега проникали за ворот, как ни обматывал Петушков морщинистую шею тряпками. Румяность поджаристых булочек и запах кокосового масла, поднимавшийся с соседних лотков, заваленных пирожками с картошкой и луком, вызывали горькую слюну и головокружение.

Дежурный комиссар с наганом у пояса толкал Петушкова в спину:

— Крутись подшипником, Ваше превосходительство! Общеизвестный декрет читал?

Петушков мог бы поставить на вид комиссару, что нехорошо обижать старика, что ему поесть хочется, но предпочел ответить метафорически:

— Молодой человек, — сказал он наставительно, — можно знать историю Англии, н е ч и т а я по-английски.

Комиссар перевел дух от удивления.

— Ой, дождешься ненормальной сцены, лысый черт. Тут тебе, извиняюсь, не Англия, ступай — откеда пришел!

В подобных случаях Петушков нахлобучивал шляпу и плелся в сторону Михайловского сквера, сворачивал по Итальянской улице направо, до угла Садовой, по Садовой до Невского и по Невскому возвращался снова к водолазу. Не в театре, места всем хватит.

Как-то раз, взглянув на скорбную фигуру Петушкова, молодой человек с портфелем и в рыжих крагах обратился к свой спутнице:

— Новое завоевание революции: наши живые пепельницы!

Тлеющий окурок «Сафо-пушки» полетел в протянутую шляпу. Это было очень остроумно, и молодые люди, весело засмеявшись, пошли дальше.

— Спокойствие, спокойствие, спокойствие, — твердил Петушков, продолжая неподвижно стоять у подножья водолаза, и если рука, державшая шляпу, иногда вздрагивала, то это происходило исключительно от холода или от мускульного напряжения.

5.

Жизнь полна неожиданностей. Две неожиданности разом свалились в домик на 5-ой Рождественской, и обе непосредственно касались Ивана Петровича Петушкова.

Первую неожиданность, в виде письма, принесла Петушкову почтальонша Даша. Появление почтальонши с конвертом в руках, само по себе, было уже неожиданностью, так как личный персонал почтового ведомства в тот год хо-

дил на субботники древонасаждения, изучал мимопластику, слушал в клубе «Красный почтарь» лекции Кони о психологии преступления, ломал баржи на топливо, стоял в очередях, голодал и мерзнул, менее всего интересуясь корреспонденцией. Но письмо, счастливо попавши на глаза почтальонше Даше, было заграничного происхождения. Женское любопытство взяло верх над другими соображениями и, таким образом, письмо очутилось в руках Петушкова.

«Уважаемый дядя.

Спешу спросить Вас, как Вы там поживаете в Вашей богоспасаемой Совдепии? Предвидятся ли существенные видоизменения? Я живу здесь, в гостеприимном Пловдиве, почти что прекрасно. Я уже больше не Петушков и не играю на домбре, а дирижирую цельным великорусским оркестром, о чем и спешу сообщить Вам. В местной газете радушного города Пловдива об Вашем популярном племяннике печатается, что Великорусский хор балалаечников из 16 человек, под управлением известного дирижера и композитора музыкальных миниатюр для струнных инструментов Василия Баянова. Гоним монету! Без сомнения, что Вас это порадует, а потому спешу уведомить Вас об этом.

Уважающий
Вася Баянов-Петушков».

Прочитав письмо, Иван Петрович решил вызвать в себе какое-нибудь чувство: радость, умиление, зависть, досаду, все равно что. Но старания были тщетны: Иван Петрович не пережил ничего. Он повертел бумажку в отмороженных пальцах, просмотрел еще раз и аккуратно уложил в ящик стола.

Домик хрустел и трещал от морозов, и этот хруст чуть-чуть согревал Петушкова: так когда-то потрескивали в круглой печке березовые поленца. Мыльные сумерки, зябкие

вечерние часы, проникали в комнату, обволакивали предметы, наполняя тенями углы и медленно просачиваясь в остывшую душу Ивана Петровича, лежавшего на кровати под грудой тряпья. Комната темнела одновременно с сознанием: инерция приспособляемости была доведена до совершенства. В ту минуту, когда, стираясь, исчезали в черноте переплеты окна, Иван Петрович уже ничего не слышал, ничего не ощущал, ни о чем не думал, он не существовал, погруженный в сон...

Вторая неожиданность разбудила Петушкова среди ночи. Перед ним стояла закутанная в платок Текла Балчус с мешком в руках. Волненье ее было чрезвычайно, руки тряслись, и голос звучал, как из подвала.

В первую минуту Ивану Петровичу пришло в голову, что в доме пожар, и Петушков сразу же успокоился: пожар означал тепло и, следовательно, можно было мирно лежать в постели. Но то, о чем рассказала Балчус, совсем не походило на пожар и требовало немедленных действий. Петушков суетливо выскочил из-под тряпья.

— Я не верю в Божественное предопределение, но, тем не менее... — произнес Иван Петрович и, как ему показалось, даже порозовел от глубины и звучности такой фразы.

Отыскав жестяную мисочку и единственный ножик, Иван Петрович подтянул по привычке свое пальто шнурком от гардины и побрел вслед за Теклой в ночные, беззвездные улицы. В эту ночь ему было шестьдесят два года и восемнадцать дней от рождения.

На площади, у Греческого собора, тлел костер и копошились молчаливые тени. Подойдя поближе, Петушков вдруг увидел огромную взбухшую тушу лошади; десятка два рук, замазанных кровью, отдирали от костей багровые лохмотья. Подле головы сопели две собаки. На тумбочке, у самого костра, сидел милиционер, с винтовкой на коленях, покрикивая в толпу:

— Разбирай живей, граждане! Сичас обход буде.

Сладкие испарения крови, теплый, шедший от мяса аромат, заполнили все сознание Ивана Петровича. Пробежал по ногам томительный холодок, сердце с шумом забилось,

затрепетало и замерло.

— Спокойствие, спокойствие, — забормотал Иван Петрович, позвякивая ножиком о миску, но слабость, нежная, чудесная слабость в ногах оказалась непобедимой.

Петушков бесшумно присел на жесткий снег, оперся плечом о копыто. И умер.

6.

Шел февраль 21-го года. Небывалые и вихревые стояли холода. Шумные, снежные ветра летали по Питеру, заметая трамвайные пути, свистя океанскими сиренами в переулках. В этот год продырявился, открылся сквознякам Петербург, затонул в воде, рванувшейся из лопнувших труб, и обледенел, фантастичный и мертвый, как парусная шхуна в зимний шторм.

Жизнь стала нереальной. Изменившие облик люди не узнавали друг друга. Головы кружились, одурманенные голодом, дрожала в ногах чудесная, нежная слабость. Смех казался недопустимым анахронизмом, улыбка сделалась выраженьем печали и страха.

Дома, ампирные карнизы, нежилые окна — медленно отпывали навстречу облакам, стоило только слегка запрокинуть голову. Однако, несмотря на волшебную красоту этого зрелища, прохожие избегали подобных телодвижений, так как, запрокинув голову вверх, они часто падали навзничь и уже не в силах были подняться. Передвигая ноги по снежной мостовой, люди смотрели на свои колени, на заплаты стоптанных валенок, и если улыбались, то эту улыбку — необъяснимый рефлекс тоски и боли — можно было заметить, заглянув в лицо только снизу.

А город, приснившийся, потерявший реальность, был неповторимо прекрасен. В ледяном воздухе, в ледниковый период обреченного Петербурга, в беспредметном сером пространстве мерцал синеватый Исакий, покрытый от кре-

ста до паперти инеем, как будто Монферан заново отстроил свой Собор из рафинада.

В подъезде громадной, едва доведенной до крыши, «Астории» дежурил пулемет, накрытый чехлом. По широким коридорам ходили довольные люди в кожаных куртках, ставших символом, униформой революции. В удобных комнатах, с центральным отоплением, пили горячий чай с заграничным коньяком и довоенным сахаром.

Коробка спичек оценивалась в миллион; пулеметы, должно быть, стоили еще дороже, но человеческая жизнь без пулемета уже не стоила ничего. Люди без пулеметов, в сущности, перестали быть людьми, превратились в случайную частность пейзажа, и если боялись смерти, то лишь потому, что боялись расходов на погребение. Но с того дня, как в Арке бывшего Главного штаба открылся государственный Отдел захоронений с бесплатной выдачей гробов по ордерам и ручных салазок «на предмет перевозки груза», — люди без пулеметов стали умирать легко и бездумно, подчиняясь инстинкту самосохранения.

Смертность росла. Казенных гробов не хватало, их выдавали напрокат. Спекулянты и частники свои гробы припрятали, как муку или соль, продавая тайком по вздутым ценам. Вероятно, вследствие этого начальник Отдела управления, Абраша Едвабник, рационалист и трезвый администратор, приступил к сооружению крематория, предоставив строителю двухместную машину и удвоенный ученый паек.

Мороз крепчал, незабываемый мороз 21-го года. Классические прелести русской зимы, прославляемые поэтами, обратились в жестокие уколы скорпионов, — они неизгладимы в памяти современников. Знаменитые «старожилы» станут когда-нибудь вспоминать о них, питая воображение неискушенных историков.

Мороз, поскрипывая, крепчал, красноватый днем и черный, черный, черный ночью. Душные, жаркие валенки, благодатный дар бесхитростного изобретателя, даже они были бессильны. Для поддержания теплоты в валенки клалась бумага: «Красная газета» и «Рабочий гудок». Бумага

была из неважных, финляндского происхождения, ватная и рыхлая. Тираж «Рабочего гудка» повышался и понижался обратно пропорционально температуре зимних месяцев; летом тираж безнадежно падал...

7.

Надевая валенки на отекшие ноги, Текла Балчус почувствовала приближение смерти.

Конечно, ей приснилась под утро баронесса Шлагге. Лицо старухи было сморщено и загадочно, как у «Пиковой дамы» в Народном Доме. Одета баронесса была в длинную пелеринку, сшитую из белой папироской бумаги. В одной руке она держала бумажную розу с остатками кулича на проволочном стебельке, в другой — серебряный царский рубль. Баронесса пристально посмотрела на свою прачку и промолвила, улыбнувшись;

— Бывши заторчавши.

Вставая с постели и разглядывая валенки, Текла вдруг поняла значение баронессиных слов: это она, Текла Балчус, слишком долго заторчалась, застряла на земле.

В полдень три подруги Теклы поджидали в ее комнате ксендза для последнего причастия. Весь путь через дворик от калитки и по лестнице устлали белоснежными простынями, с разными метками и в заплатках. На столе горели свечи, принесенные из костела. Текла лежала на кровати в белом платье, в котором всегда мечтала умереть и потому бережно сохраняла его в сундуке; руки, державшие молитвенник, скрестила на груди.

Ксендз пришел и пошептался с Теклой. Подруги спели по-латински. Тогда Текла спрятала молитвенник под подушку, поднялась с постели и поставила на примус кофейник с желудевым отваром. Так начались поминки, на которые просветленная Текла кликнула даже Грушу, жену сапожника Седякина. Кому хотелось кофе — наливалась желудевая настойка покрепче: кофейного цвета. Предпочитаю-

щим чай наливалась настойка пожиже, вроде чайного цвета. Три таблетки сахарина истолкли на кусочки и разделили поровну.

Поговорив о жизни и смерти, и о врагах человечества, ксендз пожелал Текле счастливого пути. Через час разошлись остальные.

Теклино сердце билось с безмятежным спокойствием. Никаких признаков приближения смерти не замечалось, за исключением ночного визита баронессы Шлагге и причастия. Оставаясь по-прежнему в белом платье, Текла начинала зябнуть. Смерть могла задержаться на неопределенное время, а мороз (не вечный, эпический холод астральных сфер, а петербургский мороз военного коммунизма), непрошенный и неумолимый, подходил вплотную к ногам, завернутым в «Рабочий гудок», к пальцам рук, полз по спине и охватывал плечи. Текла Балчус решила затопить печь.

Там, в огромном недостроенном доме, что насупротив, на перекладинах пятого этажа (Текла помнила) сохранились еще не унесенные паркетины. С первой ступени каменной лестницы, сквозь все этажи и пробитую крышу, со дна колодца, виднелся кусок белесого неба, и под самым небом лежали для Теклы дрова.

Осторожно, не торопясь, в платке и с мешком, подымалась она по уцелевшим ступеням к небу, среди пустоты и железных скрепов. Теперь от дубовых квадратиков отделяла Теклу всего одна, перекинутая над пропастью, широкая балка. Текла задержалась на минутку, подумала. Потом шагнула вперед.

Виновен во всем, конечно, мороз — и не потому только, что потребовались дрова, но потому, что балка покрылась легким слоем льда. Текла закачалась, стараясь сохранить равновесие и, с мешком в руке, ринулась вниз. Незнакомая с литературными традициями, она не вспомнила в этот миг ни детства, ни пройденной жизни; она ни о чем не вспоминала и даже не вскрикнула. Задев ногами за стропила третьего этажа и перевернувшись вниз головой, Текла ввинтилась хрупким черепом в щебень, в кирпич, в стекло, в обледеневшую вонь человеческих испражнений.

Белая юбка раскинулась абажуром, открыв старческие ягодицы. Солнечный луч, нырнув сквозь туманную тучку в проломанную крышу, светлым пятнышком упал на сморщенное серое тело. Поняла ли эту последнюю безжалостную ласку бедная Текла Балчус — осталось неизвестным.

Верхний этаж в домике на 5-ой Рождественской опустел.

8.

События нарастали, чередование их ускорялось. Так на экране кинематографа остроумный режиссер ускоряет движение, постепенно доводя зрителя до ряби в глазах. Передача событий теряет свою красочность, превращаясь в протокол, в сухой и торопливый перечень.

Сапожник Седякин был неразговорчив от природы. Груша, его законная жена, тоже помалкивала. Так молча и жили Седякины в сыром полуподвале на 5-ой Рождественской. Только ребятишки пищали и плакали, но к их плачу привыкли, как к скрипу калитки. Прошлым Седякина никто не интересовался — а в настоящем знали только то, что Седякин — сапожник.

Спустя месяц после Теклиной смерти зашел к Седякину заказчик. Седякин встретил его, против обыкновения, чистый, расчесанный, в новой белой рубахе в горошину.

— Разбогател, Седякин? — удивился заказчик, — подметки-то готовы?

— Подметки-то? Не готовы подметки. Не до подметок тутот-ко, жену сыпняк прибрал, давеча свез на Волково.

— Та-ак, — протянул заказчик и, помолчав, добавил: — Ну, а подметки когда же?

— Подметки? Заходи на неделе.

Заказчик был человеком сердечным, да и подметки могли обождать. Он заглянул в подвал недели через две.

— Ну, как подметки-то?

— Маются, — отвечал Седякин.

— Чего, маются? — не понял заказчик.

— Говорят тебе, детки в сыпняке маются!

Заказчик заволновался, отступил за порог.

— Медика звал, Трофим Антоныч?

— Были медики, Бог с ними... А за подметками заходи на неделе.

Стыли очереди у продовольственных лавок, плавали тучи над крышами, на заборах выцветали декреты. Вши, нательные и платяные, незаметные серые плащицы, воспользовавшись бесплатным проездом, заполнили вокзалы, теплушки, трамваи, миллиардами миллиардов ползли по России...

В третий раз зашел заказчик за подметками. Дверь была открыта настежь, сапожник сидел в раздумьи.

— Один теперича? - спросил опасливо заказчик

— Один в настоящее время.

Заказчик пожалел:

— Заходи ко мне, что ли. Похряпаешь.

— Сам хряпай, — ответил Седякин, — меня подметки ждут.

Через несколько дней на дверях полуподвала висела бумажка с государственной печатью. В бумажке значилось:

«Ввиду смерти квартиронанимателя, гражданина Седякина, помещение с находящим имуществом опечатано Жилотделом райсовета. Преджилотдела товарищ Ударов.

Секретарь: Товарищ Ботвинник».

— Плакали мои ботиночки... сволочь! — подумал заказчик и плюнул в печать.

9.

Топография жизненных путей, до революции бывших «Господними», продолжает оставаться областью малоисследованной. Дороги скрещиваются и разбегаются, поми-

мо человеческой воли, влекомые неразгаданным законом, диктующим направления и сроки. Таинственным образом жизнь Абраши Едвабника в некоей точке соприкоснулась с домиком на 5-ой Рождественской.

Начальник Отдела управления и обладатель лучшего в городе «Мерседеса», Абраша Едвабник являлся не только хозяином красного Питера, не только сухим рационалистом и суровым администратором, от слова которого зависели судьбы людей и содрогались болтливые машинистки, — он был еще влюбчивым юношей со вкрадчивым голосом, искренним поклонником и покровителем литературы и искусства. Это именно он, Абраша Едвабник, организатор трудовой колонии для проституток в окрестностях Сестрорецка и образцового концлагеря для нетрудовой буржуазии, предложил известному художнику исполнить эскизы ливрей, попон и колесниц для траурных кортежей Отдела захоронений, в целях поощрения таланта; художник поморщился и принял заказ. Именно ему, Абраше Едвабнику, принадлежит авторство знаменитого воззвания к писателям:

«Театр должен взять на себя миссию провести широчайшую агитацию в хлеборобных округах в пользу снабжения продуктами первой необходимости неурожайных местностей и центров. Писатели и драматурги! Пишите пьесы на тему о проднужде РСФСР и необходимости всемерной поддержки голодающих частей республики! Театрализация лозунгов Наркомпрода поможет сов. власти в ее продполитике!»

В тот вечер Абраша Едвабник угощал обедом долговязого писателя и первую балерину академического балета, меланхолическую и прозрачную, как нестеровская монахиня. Вдоль окон с видом на Дворцовую площадь на длинных полках лежали груды отмычек, отверток, ножей и напильников, револьверов, ручных фонарей, таинственных и необычных воровских инструментов, предназначенных для показательной выставки петербургской преступности. По стенам обширного кабинета висели карты, диаграммы, портреты Зиновьева, Урицкого и других вождей и пейзаж

Левитана. В углу были сложены винтовки и разобранный пулемет; на плюшевой подушке спал откормленный полицейский пес; на полу раскинулись медвежьи шкуры; в камине приветливо горели березовые обрубки.

За бутылкой подогретого красного вина довоенного разлива, велась тихая, умная беседа о современной литературе, об Уитмане и Киплинге, о молодой русской поэзии. Долговязый писатель шагами чертил диагонали по кабинету, балерина безучастно дремала в кожаном кресле, хозяин сидел в медвежьей шкуре у ног балерины, лаская щеками ее нежные икры, отдыхавшие от тяжелых валенок, сушившихся на камине.

Неожиданно взглянув на часы, Абраша Едвабник вскочил с медвежьей шкуры, снял трубку внутреннего телефона и крикнул:

— Машину!

Балерина приоткрыла глаза, писатель с тоской посмотрел на недопитую бутылку.

— Дорогие товарищи, — сказал Абраша Едвабник, — в полночь состоится опытное сжигание в крематории. Предлагаю ехать вместе. Надо выбрать труп.

Скачок от Киплинга был значительный, но оба гостя тотчас согласились ехать. Балерина искала зрелищ, способных вывести ее из летаргического безразличия, писателю представилась новая страница дневника, который он терпеливо составлял пятнадцать лет подряд.

На нарах морга, поленницей, лежали мертвецы под брезентом. Балерина широко раскрытыми византийскими глазами впивалась в осклабленные лица. Писатель силился припомнить цитату из Эдгара По. Абраша Едвабник беседовал с начальником морга о дополнительных ассигновках.

Погадав по пальцам, балерина указала на бородатого покойника. Под номером бородатого значилось:

«Гр. Трофим Седякин, сапожник-кустарь».

Абраша Едвабник приказал золотом высечь это имя на черной мраморной доске. Избранник Жизели и Коломбины, сапожник Седякин, вошел в историю.

— Так последний — стал первым, — сказал писатель.

— В общем и целом, забавный факт, — заметил по этому поводу Абраша Едвабник и нежно взглянул на балерину.

Писатель возвращался домой пешком.

10.

В жаркой багряной пыли августовского вечера кончался на Марсовом поле «день смычки физкультурников с Красной армией». Возбужденные легкой атлетикой, метанием дисков, прыжками и бегом, строились в колонны загорелые голые юноши в цветных трусиках, и под свист и гиканье запевал, под звонкое рявканье духовых оркестров, огибали могилы Жертв революции, вдоль циклопической кладки кладбищенских стен, возвращаясь в казармы. Впитывая одобрительные взгляды зевак, гордые бицепсами, крепким загаром и ощущением ритма, расползались по улицам ровными рядами, оставляя в воздухе легкий след приятного, щекочущего пота.

Поле быстро пустело. Разъезжались последние автомобили почетных гостей и шефов, принимавших парад и руководивших смычкой. Кумачовое солнце неярким кругом опускалось за Петропавловскую крепость. Тонкие стволики чудом возникшего на огромной площади сада безвольно таяли в синеющих сумерках, и траурные стены кладбища — неоконченное создание беспутного и пьяного архитектора — архаическим силуэтом, странным и новым для Петербурга, врезались в небо...

Маленький домик на 5-ой Рождественской стоял почерневший, пригнувшийся, безучастный ко всему и неживой, за сорванной с петель калиткой забора. Тяжелые веки ставень легли на окна, приоткрывая сквозь щели помутневшие и незрячие полоски стекла, и в морщинах карнизов темнела зеленоватая сырость тления. Так, с неощутимой быстротой, преображается опустошенная материальная оболочка человека после его смерти: западают глаза, отвисает

челюсть, сходят на лицо незнакомые черты мудрости, познания и покоя.

Близилась ночь, когда на 5-ую Рождественскую, возвращаясь в казармы и на сборные пункты, вступали физкультурники. Хрипло лаяли медные трубы, высокий и легкий голос взлетал к чердакам. Мертвый домик одиноко чернел, похожий на старый, ненужный ящик, выброшенный на задворки. Калитка беспомощно висела на последнем гвозде, как рука паралитика.

Один за другим, разрывая ряды, вбегали голые люди в калитку; смеясь и торопя друг друга, останавливались они у кирпичных стен подвала или, заходя в подъезд, присаживались под лестницей на корточки, напевая революционные гимны...

Проходили недели и месяцы. Гниющий труп несхороненного домика распространял зловоние. Под лестницей копошились мокрицы и буравили туннели жирные червяки. Ноябрьская стужа прильнула к мертвецу покровом небрезгливого инея...

Началось с дверей и ставен. Потом оторвали резные наличники. Чем сильнее становились морозы, тем заметнее таял маленький домик. К декабрю его вывернули наизнанку, как старое пальто. Нескромно обнажилась ветхая подкладка обоев, заплатанная квадратами тех мест, к которым раньше прислонялась мебель и где висели расписные часы и календарик. Покрытые узором незатейливого трафарета, выцветшие поля простенков расползались по швам. Улыбался легким снежинкам, белым зимним бабочкам, портрет Иоанна Кронштадтского. На полу, вдоль карнизов, узкой полоской чернели братские могилы тараканов. Мельчайшие следы сокрытого быта, дактилоскопические оттиски горя и радостей, убожества и тоски, пласты интимнейших привычек безобразно проступали наружу. Это было пейзажем трагическим и волнующим, было тревожным и жалким зрелищем: фрагменты людского уюта под открытым небом.

В конце января, среди кирпичных контуров подвала, одиноко торчал ствол прокопченной печной трубы, — раз-

розненные окаменелости скелета, по которым старательный палеонтолог тщится восстановить формы живого тела. Кирпичи были вскоре проданы с торгов Жилотделом подрядчику Бройдесу, шурину товарища Ботвинника, не попав в прохладные витрины Зоологического музея...

В солнечный день 1-го мая, небольшой пустырь 5-ой Рождественской, где недавно горбился старенький домик, представлял необычайную картину. Прямоугольник площади был гладко расчищен и посыпан гравием. В самом центре возвышалась трибуна, сколоченная из досок забора и обтянутая красным миткалем, еловыми гирляндами и лозунгами. У трибуны, на высоком шесте, доска с надписью:

«Районная детплощадка имени Станислава Балчуса».

Алые флажки трепал весенний ветер. Петербургская весна, бодрящая свежесть залива, чуть уловимые запахи подснежников и хлесткие капли шального дождя, петербургская весна сладчайшая из весен! Зеленело радостное небо, крылатый и дерзкий ветерок, прилетевший из прекрасного далека, вздувал флажки, ситцевые рубашонки ребятишек и пестрые юбки их матерей.

Зав Жилотделом, товарищ Ударов, и представитель Наробраза Николаев произносили речи. Ударов говорил:

— В пролетарском государстве нет места зажиревшим буржуям и брюхатым капиталистам, протягивающим свою властную руку. Железной рукой пролетариат вырвал власть из их кровавых рук и передал в мозолистые руки трудового народа и бедняцкого класса. Дорогу бедняку! Всем трудящим и неимущим советская власть помогла свободно вздохнуть и окрепнуть. Освобожденный пролетариат не забывает рядовых борцов за освобождение. Товарищ Балчус своею собственной рукой исполнял заветы...

Зав Жилотделом Ударов говорил вдохновенно и долго.

СНЫ

1.

Письмо, которое не дошло по назначению:

«Мой дорогой, горячо любимый отец!

Меньше всего мне хотелось бы расстроить тебя, причинить тебе горе. Помнишь, ты часто упрекал меня в неумении “смотреть философски на вещи”? Теперь я предлагаю тебе вооружиться хладнокровием и, в свою очередь, отнестись философски к тому, о чем не могу не написать тебе. Впрочем, ничего ужасного не произошло: просто мне должны ампутировать ногу. Еще часа два осталось до операции, и это время мне хотелось бы заполнить беседой с тобой.

Меня ранили в бою, раздробили кость выше колена. Бой был, как все бои. Мы находились в березовой роще. Довольно об этом. Я не был трусом. Даже в детстве, когда я дрался с мальчишками — помнишь? — я никогда не трусил и не бежал. Но теперь, перед операцией, я боюсь, я впервые понял, что такое страх, мне страшно думать о предстоящем. Смерть и другие опасности, даже худшие, чем смерть, всегда представляются в бою только возможными, но не обязательными. Вообще, там, в мокрых окопах, в слякоти, в огне — рядом с думой о смерти всегда горит надежда на победу, мечта о счастливом отдыхе. Там непременно стараешься подвести под мрачную реальность войны понятие о долге, отыскать в кошмарах боевой жизни то спасительное “во имя”, которое может еще воодушевлять на подвиг, оправдывать убийство и вознаграждать за страдания. Там стараешься помнить о конечной цели, смягчающей личные лишения сознанием, что они переносятся ради общего блага. Такие чувства бывает трудно удержать до конца, но в какой-то начальной степени они неизбежны почти для каждого, а в особенности для тех, кто, как и я, пошел воевать добровольно...

Здесь — совсем иное. Здесь, вдали от боевой обстановки, в далеком тылу, в светлой хате, на больничной койке — рассеивается туман, окутывавший ум, чувства становятся проще и откровеннее, и потому идея общего блага, идея жертвенности бледнеет, распыляет свое содержание, свой смысл, и на поверхности остается только личное несчастье, до которого, по совести, никому нет дела, — нелепость, бессмыслица, трагедия, неотвратимая, несправедливая и жестокая!

Существует ли действительная ценность таких понятий, как долг, общее благо, подвиг? Сейчас для меня существует только физическая правда страдания. Должно быть, поэтому бывает тяжелее пережить потерю ничем не замечательного, но близкого человека, чем смерть национального героя. Лишенный побрякушек высоких идей, животный страх перед неминуемой катастрофой встает во весь рост, путает мысли, вызывает испарину и перебои в сердце... Человеческая жизнь без побрякушек напоминает рождественскую елку, с которой сняли украшение: остается только бросить ее в мусорную яму и вымести зеленые горсти опавших игл.

Доктор, утешая меня, напомнил мне еще одно понятие: родина. Я думаю, так утешать могут только посторонние люди. Мне начинает казаться, что любовь к родине — какое-то кошачье чувство: кошки привыкают к месту, к обстановке, к географии...

Но самое страшное в жизни — это бессонница...»

2.

Прежде всего появляется лицо совершенно случайное, не имеющее прямого отношения к событиям, — пупырявый газетчик Петька с Рыбацкой улицы Петербургской стороны. Шныряя по Малому проспекту и радуясь трескотне пулеметов, Петька нашел на панели, у деревянного забора, револьвер. Петька огляделся хорошенько, присел на кор-

точки, прикрыв находку полами своего пальтишки, и незаметно втянул револьвер за пазуху.

«Пойду в юнкерей палить», — решил Петька, изнывая от восторга, и кинулся в ту сторону, где шел главный бой и куда сейчас, со стороны Спасской улицы, подвозили пушку. Добежав до угла, Петька опустился для важности на одно колено, вынул наган и прицелился. Сердце его горело счастьем свершения. Но в эту самую минуту за Петькиной спиной остановился швейцаров сын Степан Топориков, в драном пиджачном костюме, протянул через Петькино плечо немытую руку, вырвал револьвер и крикнул сердитым голосом:

— Не дело! Ступай молоко сосать!

Петьке было тринадцать лет, и он по праву считал себя взрослым. Стрелять по юнкерам казалось ему более заманчивым, чем бить воробьев из рогатки. Петька взвыл от досады и злобы:

— Дяденька, полно баловать! Отдай штучку-то!

Трещал пулемет, звенели стекла, рушились карнизы юнкерского училища, торопливые красногвардейцы заряжали почти в упор придвинутую пушку. Небо заволакивалось мглой, раненых оттаскивали в угловую аптеку.

Топориков цыкнул на Петьку, стянул пустое брюхо ремнем и, помахивая револьвером, пошел в дым.

3.

Будучи фигурой эпизодической, Петька-газетчик стушевывается и исчезает...

Нависли дождливые, мутные дни над Питером. Мокрые хлопья снега падали на мостовую и тут же таяли, растекаясь в лужи. От сырости потемнели стены домов. Небо, как мокрую тряпку, хотелось свернуть жгутом и выжать над взморьем.

В эту слякотную осень, в этот мокрый снег — разразились над северным городом воробьиные ночи: ухали, бу-

хали, бабахали, тарахтели. Божьи старушки сходились шушукаться в подворотнях; купцы, адвокаты, чиновники забивали изнутри парадные двери своих квартир, заплаканные жены рассчитывали горничных и кухарок и прятали под половицы фотографические карточки своих сыновей в офицерских погонах; мальчишки на спор перебегали улицы под пулеметным огнем.

Думали те, кто запирался в своих квартирах, что наступила вечная страшная полярная ночь, одиночество, что сузился мир до их собственного адреса, до тесной их кухни, из которой не было выхода, из которой опасно выглянуть в форточку. Другим — вся Россия казалась теперь коммунальной квартирой на солнечную сторону; прежние, ненужные, маленькие адреса были потеряны и забыты. Серые толпы расползались по городу, заходили в чужие жилища, искали оружие в матрасах у статских советниц, громили погреба в магазинах Шитта и Черепенникова, висли на буферах и на крышах вагонов, разъезжаясь из города — куда глаза глядят.

Исчезновение Петьки произошло именно так: он примостился на буфере, паровоз свистнул, колеса громыхнули и под ногами заструились рельсы. Если бы Петьку спросили, куда он едет, Петька не смог бы ответить. Любань, Малая Вишера, Окуловка, Угловка, бесконечные запасные пути, тоска стоянок, сквозняки вонючих телятников и самосуд над машинистом. Потом — Валдайский тракт, холмы, застывшие озера, синие луковки церквей, поля, снега, сугробы... Черно холодное звездное небо — вызвездило от края до края, — глубоки сугробы, Россия громадна... Ау!

4.

Зазевавшись на улицах, попал Степан Топориков к своему дому; стоял под навесом подъезда, за спиной болталась винтовка.

Швейцариха Настя, мать Степана, тыкала пальцем в замызганный на отделку пиджак и произносила горькие слова:

— Скажите на милость, какой корешок выискался! Мотался, мотался и домотался! Так тебе, проходимцу, и следует, большевик завшивый!

— Какой ни на есть, не тебе разбираться! — огрызался тот.

Швейцар Василий позеленел с лица, схватил сына за ворот и заорал в ярости:

— Нечего тебе, гадюка, желторотый черт, на родную мать белки пялить! Мать она тебе или не мать, я тебя спрашиваю?

В это время свистнула пуля-дура и ухлопала швейцариху наповал. У подъезда набухла толпа. В луже крови лежала на земле швейцариха, и глаза ее смотрели вверх без всякого выражения.

— Убийцы! — кричал истошно Василий, — убили, дьяволы! Настю убили, швейцариху!

Степка замешался в народ, за одно плечо, за другое, и пошел наутек.

5.

За революционную бдительность и высокий рост назначили Топорикова Степку в Смольный, сначала часовым у главного входа, потом наверх, — в этажи поважнее.

В тревожной черноте питерских ночей, в океане, — огромный, изнутри светящийся океанский корабль. Галдят грузовики, лязгает артиллерия, дымятся походные кухни, затворы щелкают. В двери вливаются мохнатые толпы, на штыки часовых нанизаны пропуски, красные, серые, белые.

Внутри, в корабле — солдатские шинели, винтовки, обоймы, пулеметы. Проплывают в табачной мути обожженные порохом лица. Актовый зал — жаркий котел, центральная топка, со столов не слезают ораторы. Голосовые связки на-

дорваны, опухли от бессонницы веки, растрескались губы. Шипят полы от тысячи шагов, тонут в листовках, в плевках, в окурках. Воздух сизый и плотный, ноябрьский ветер бессилен пробиться в открытые фортки, институтское электричество днем и ночью горит и не светит.

Люди валятся с ног, засыпают на окнах, в углах и вдоль стен, на полу в коридорах. Звериный храп под сводами дортуаров; рваные сапоги, в грязи и в глине, свисают с девичьих узких кроватей...

Топориков стоит на часах; не штык, а цветная гирлянда. Шипят полы под тысячью шагов.

— Пропуск, товарищ! Проходи, не отсвечивай!

Чешут паркет сапожищи, в окопной грязи, в дорожной глине — минской, самарской, челябинской; липнут к подошвам окурки и листовки.

Въехал в самую гущу Топориков. Сердце революции, океанский корабль в ноябрьском шторме. Шинели, обоймы, ручные гранаты, обожженные порохом бородатые лица, знамена, окопные вши.

«Руками за горло, коленом на грудь!»

— Пропуск!

6.

Зима. Девятнадцатый год. Ропшинская улица, № 8.

В неотопленной комнате иней покрыл железные перила кровати. Тем не менее, именно эта комната во всей квартире считалась жилой. Остальные пять были заперты наглухо, изъяты из обихода, из памяти.

Щели в дверях заложены мятой бумагой.

Там, за этими дверями, остался ненужный балласт, потерявший значение и всякую связь с действительностью: излишняя кубатура; рояль, в котором от холода лопнули струны; голубые Поповские чашки; дубовый письменный стол; полки с книгами; сундуки, чем попало набитые доверху.

Люди уподобились аэронавту, сбрасывающему на землю свои ботинки, чтобы легче было подыматься в разреженном, леденящем воздухе.

На столе, в неотопленной комнате, считавшейся жилой, в крохотной баночке с деревянным маслом, коптил червячок фитиля. Тени были громадные, диккенсовские. На стене висела в декадентской раме гравюра, изображающая коронацию Шарлеманя; к стеклу прилипла уснувшая муха. В редких случаях совершались полярные экспедиции по ту сторону заложенных бумагой дверей, короткие вылазки в страну паутин и мороза. Как пленки, брошенные в проявитель, оживали тогда странные, далекие сны — при взгляде на пожелтевший крахмальный воротник, на футляр от очков, чернильницу из малахита, — оживая, тревожили на мгновенье и снова уходили в небытие.

Спать ложились в шубах и валенках, накрываясь грудой одеял. На перилах, около самой подушки, от теплого дыхания понемногу оттаивал иней. По одеялам бегали, попискивая, мыши.

Спящим снился сыпняк.

7.

Поезд Реввоенсовета, Летучий Голландец революции.

Два паровоза — два ревущих снаряда. В первом вагоне — аппараты Вуза и типография. Во втором — сам наркомвоен с ревштабом. В третьем технический персонал и чины личной охраны. Последний, четвертый вагон — открытая платформа, на платформе — торпеда защитного цвета, 30 лошадиных сил.

Стонут рельсы на много верст впереди, вздрагивают шпалы, гудят мосты:

прет поезд революции.

В третьем вагоне лежат валетом на койке Проскуров Яша и Степка Топориков, чины охраны. Топориков — старший.

Голос у Проскурова теноровый, Проскуров поет:

«Пойду, выйду в чисто поле
Поглядеть, как лен цветет.
Из-за горочки Егорочка
С тальяночкой идет...»

Топориков слюнявит цигарку, и дрёма, легкие мечтательные полусны опутывают его голову. Кому не известен этот благостный и непрочный отрыв от жизни в вечерний час? Этот час бывает розовым в деревне, когда из синеющей рощи, с лугов и полей подымаются, усиливаясь к ночи, сонные ароматы земли. В городах, где копоть и дым закрывают небо, тот же час бывает серо-лиловым. Тогда загораются фонари вдоль тротуаров, исчезают архитектурные подробности домов, очертания улиц становятся кубическими, упрощенными, обобщенными. В этот сумеречный час неодолимую прелесть обретает власть недосмотренных, неувиденных, неосуществленных снов.

Проскуров поет, на стене качаются винтовки, пахнет каменным углем. В коридоре дремлет дежурный.

Степка зевает, переклеивает цигарку с одной губы на другую. Вечер стремительно клонится к ночи. За окном — ливень огня в черноте. Стонут рельсы, качаются мерно винтовки, ночную темь сверлит Летучий Голландец...

А утром в покрытые нежной росой стены вагонов забарабанил пулемет. Поезд вздрогнул в лязге и грохоте, уперся всеми тормозами в колеса, на минуту замер на месте и дал задний ход. Схватив ружье, Топориков выбежал на площадку. Проскуров прыгнул со ступенек на шпалы.

— Яшка, назад! — кричал Топориков, — назад, болван!

Проскуров кубарем скатился под откос и, свернувшись калачиком, заснул под насыпью у самой канавы.

8.

«Поговорим о березовых рощах. Поговорим без излишней чувствительности, но все же с оттенком умиления до

ласковой радости...

Особенно хороши березовые рощи на пригорках. Это потому, что сквозь белые, пятнистые ряды стволов, отовсюду по кругу сверкает, сочится небо. Снизу, над нежными травами, небо бледно-зеленое, зыбкое, но чем выше, тем ярче оно голубеет, тем прекраснее синева, а над самой головой — торжествующе синее, бурно-синее, обильное, неиссякаемо глубокое — покрывает небо прозрачную и трепетную зелень листвы.

В низинах и на болотцах береза не такая прямая и белая. Правда, гриб, подберезовик, родится здесь чаще, но и он бывает слишком тонок, непрочен и большеголов, и растет вперемешку с желтыми и мутно-красными сыроежками, а иногда и просто бок о бок с поганками.

На ровных зеленых холмах, окруженных лазурью, береза сильна, широка и пряма. Ее крепкое тело, ее парящие, размашистые ветви туго обтянуты белой лайкой и замшей; листья политы смарагдовым лаком, плотные, клейкие, круглые. Желтые капельки куриной слепоты в траве, еще какие-то голубые и белые венчики, а трава мягка и гостеприимна: лечь ничком, лежать с открытыми глазами, вдыхать березовый покой вместе с запахом белых стволов, сладкого сока березы, трав и цветов, запахом яблочным, квасным, удивительным! Тихий звон жуков, безвольные полеты ранних апрельских бабочек и (если, приподнявшись, опереться на локоть) — внизу, под пригорком, в синеватых полях — телеграфные столбы вдоль сверкающих рельс и черное кружево железнодорожного моста...»

Так думал или, вернее, так успел подумать в один кратчайший миг, в некую долю секунды, раненый в ногу поручик, Семеркин Кока, падая навзничь, на локоть, в душистую зелень травы. В следующее мгновение Семеркин увидел над собой и вокруг себя десятки огромных подошв, десятки бегущих сапог. Затем нестерпимой болью рвануло низ живота, Семеркин громко крикнул «ох!» и, соскользнув с локтя, закрыл глаза.

Вокруг него толпились белые березы.

9.

Выйдя из линии огня, обогнув пригорок, на котором зеленела роща и взорвав позади себя горбатый мост, уронивший железные ребра в светлую глубь реки, поезд въехал в луга и жарким полднем, после весеннего теплого ливня, остановился у разрушенного, обгорелого полустанка. Струился воздух, как голубой сироп в воде. Через весь горизонт, над зеленой травой, перекинулась сладкая радуга.

Стоит на ступеньках вагона Топориков, созерцает. В ушах еще не остыла пулеметная россыпь. Но оттого ли, что слишком долго глядит Топориков на радугу, она постепенно превращается из семицветной в двухцветную, зеленую с желтым. Топориков присматривается внимательно и явственно различает на ней золотые с разводами буквы «Трактир Радуга». Топориков сначала удивляется, но вдруг узнает и эту полукруглую вывеску и досчатый забор на Ропшинской улице и январский снег, крутонакатанную гору от забора в пустырь. Степка, в теплых детских валенках, мчится с этой горы вниз на зеленых салазках, вдвоем с приятелем из двадцать третьей квартиры. На повороте приятель далеко отлетает в снег и, вскрикнув, хватается за ногу: гамаша прорвана на коленке, по сиреневой коже — струйка крови...

Топориков жмурит глаза, открывает снова: чернеет обугленный полустанок, в голубом сиропе пышно сияет семицветная, сладкая радуга. Глядит на нее Топориков, не может оторваться; радуга зацветает все пышнее. Его душа восхищается, подымаясь до неизведанных вершин восторга.

— Дугообразно! — шепчет Топориков в самозабвении и не замечает, что его уже кличут из вагона.

—————

10.

О ту же пору: из несуществования, из тьмы далеких эпох, из тумана воспоминаний, выходит на черную лестницу дома № 8 по Ропшинской улице человек прошлой эры, старый профессор Семеркин (историк философских учений), запирает ключом кухонную дверь квартиры двадцать третьей и спускается вниз с четвертого этажа.

В красном Питере в те дни еще не стаял снег, пожелтевший, примятый, пробуравленный весенней капелью. Старый профессор собрался из дому за полтора часа до своей лекции: пешком к Пяти углам. Рюкзак за спиной, через плечо перевешены детские салазки, крытые когда-то зеленым кретоном.

Профессор задумчиво гладит салазки: «как времечко-то бежит». И ему приходят на память звонок в прихожей, озабоченный Кока с расцарапанным коленом (гамаша разорвана), а за Кокой, вот с этими салазками под мышкой, румяный Степка, швейцаров сын.

Времечко бежит, слабые профессорские ноги с трудом передвигаются по улице, весенние брызги летают по городу, от Коки уже больше года нет известий, а на прогнутых, рваных, но милых салазках профессор Семеркин возит паек.

У перекрестка, где всегда вывешивали правительственные сообщения и декреты, стояла кучка любопытных. Профессор приблизился и стал читать:

«От Коллегии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляцией и саботажем.

В заседании от такого-то числа, рассмотрев дело белогвардейской организации, находившейся в связи с финляндской контр-разведкой, Коллегия В. Ч. К. постановила:

1. Петрова Сильвестра (б. полковника); 2. Игнатовича Николая (б. офицера); 3. Игнатовича Марка (б. офицера); 4. Игнатович Марию (жену Игнатовича Николая); 5. Каблуковского Михаила (журналиста буржуазной прессы); 6.

Иванова Константина; 7. Калугина; 8. Либермана; 9. Демидова; 10, 11, 12... 15... 22, 23, 24... 28...»

Профессор Семеркин не разобрал последней цифры, 30, может быть, 40...

«...расстрелять. Приговор приведен в исполнение».

Семеркин почувствовал головокружение и слабость в коленях. Чтобы не покачнуться, он прислонился к кирпичной стене. Страшные цифры опустошали мозг, под языком скоплялась липкая слюна вкуса крови, к горлу подступала тошнота. Было ясно: нужно завыть от безвыходной злобы, зубами грызть мостовую в смертельной тоске. Но был вторник, а в клубе водников у Пяти углов, где профессор Семеркин читал лекции по гигиене, выдавали по этим дням лекторский паек. Это было маленьким, даже жалким соображением рядом с тем количеством горя и ужаса, о каком оповещал листок бумаги, приклеенный к стене, но может быть, потому и несокрушима жизненная сила человечества, что события ничтожные часто приобретают решающее значение.

Звонкие капли падали с крыш и карнизов; с грохотом, пугая прохожих, вылетали иногда из водосточных труб сорвавшиеся внутри них круглые льдины и разбивались вдребезги; по мокрому, серому небу ступала с юга весна. Сгорбленная фигура профессора, с рюкзаком и салазками, все уменьшаясь в длинной перспективе улицы, сократилась до размеров маленькой черной соринки и растаяла где-то в стороне Тучкова моста.

11.

Стены просторной, недавно выбеленной хаты, отведенной под офицерский лазарет, уплывали. Белый карниз под потолком терял свою плотность и распухал, заполняя собой

все поле зрения. Вошедший доктор, ущемленный с боков белизной стен, был неправдоподобно тонок, сквозь голову просвечивала оконная рама, и вся его фигура, вытянутая до невозможности, колебалась, как отражение на воде.

Доктор весело улыбнулся, присел на табурет, взял руку Семеркина, прижав пульс, и заговорил таким тоном, каким говорят обыкновенно о вещах малозначащих, но забавных:

— Ну, как мы себя чувствуем, поручик? Ночь прошла спокойно, что, впрочем, и не удивительно... мы, видите ли, совещались... пульс отличный... совещались, так сказать, всем синклитом и вообще, и пришли к выводу, что положение ваше не внушает опасений, рана по существу пустяковая, но, видите ли... — доктор замялся на минуту, потом сделал кистью руки округлое движение над бедром Семеркина и прибавил, не переставая улыбаться: — э т о придется ампутировать.

Такой же полукруг отмечает над бычьей тушей красная ладонь мясника, предлагающего покупателю отрезать наиболее выгодный кусок говядины. Прилив ужаса кольнул Семеркина тысячью горячих, мельчайших иголок во все поры лица и шеи, обильный пот выступил на лбу и под волосами. Но в ту же секунду (что было особенно странно) внезапно исчезла боль в ноге и появилось сознание, что сама нога, еще вчера здоровая, мускулистая и необходимая, перестала быть ногой, превратившись в некое неопределимое «это», как выразился про нее улыбающийся доктор.

Семеркин вспомнил: струйку крови на сиреневой коже, боль в коленке, разорванную гамашу, снег, салазки и красную Степкину рожу. Так, путем случайных сопоставлений, три человека, находящиеся в трех различных состояниях, соединились на мгновение в одной общей точке, построив таким образом невидимую пирамиду. Но, встретившись, они не узнали друг друга и чудесная пирамида рухнула незаметно и просто: старый профессор растворился в параллелях Большого проспекта, направляясь к Пяти углам, Степан Топориков ушел за кипятком для чая, а поручик Семеркин, взглянув на доктора, сказал ему безучастно:

— Режьте.

12.

Фантастическое странствование, таинственное и необычайное путешествие в миры, еще не нанесенные на карту, началось с той минуты, когда доктор, улыбаясь по-прежнему, сказал Семеркину:

— Ну-с, теперь спите спокойненько, никто вас не потревожит, а я пойду мыть руки.

Повернувшись спиной доктор направился к двери, и в разрез белого халата Семеркин увидел защитного цвета штаны и английские обмотки.

Семеркин неподвижно лежал под маской, дышавшей в него снами, забытьем, смертью. Безвкусный, тепловатый, пахнущий резиной воздух проникал в грудь. Семеркин думал о пуговице на своем рукаве, о сером кобеле «Гришке», оставленном без надзора при уходе на фронт, о красных жилках на носу санитара. Но мысли рождались уже не в нем, не в самом Семеркине, — на столе, прикрытом белой клеенкой, лежал пустой футляр человека, — они протекали где-то рядом, вдоль стола, перегоняя раздражающее, неотвязное, застрявшее в сознании слово: нога.

Вдруг сердце с чудовищной силой заклокотало в грудной клетке и вырвалось наружу. Семеркин слышал, как рядом в стену неистово застучали молотком. «Странно: в лазарете — и так стучат», — пронеслось недоумение на огромном расстоянии, за много верст от Семеркина. Молоток продолжал стучать. Семеркин с удивлением прислушивался к этому стуку и не мог понять, каким образом твердый материал стены, вероятно, дерево или штукатурка, размягчался под ударами, превращаясь в податливую, ватную массу, все больше заглушавшую стук? Этот вопрос занимал теперь все внимание Семеркина и казался чрезвычайно забавным; он улыбнулся, но улыбка была где-то очень далеко от белой хаты, может быть, в другой стране и, может быть, не теперь — сто лет тому назад улыбнулся Семеркин.

Он, несомненно, видел время. Непривычные анахронизмы возбуждали острое любопытство. Время не имело определенных очертаний, потому что было необъятно, но жужжащие полеты столетий мелькали перед взором потрясенного Семеркина. Белый стол, на котором лежал он, заколебался, тронулся с места и поплыл, слегка покачиваясь. Голубые, прозрачные стаи хрустальных аэропланов сопровождали его.

Удары молотка раздавались все беззвучнее, таяли в пространстве, не встречая более сопротивление стен. Звуки делались тоньше и мелодичнее и вскоре стали напоминать отдаленный звон колокольчиков, нежное звяканье тончайших стаканчиков и наконец перешли в негромкий и меланхолический шелест движимых ветрами гигантских газетных листов. Шелест был удивителен, вездесущ, умиротворяющ и страшен... Семеркин пролетал голубой туннель. Головокружительная скорость полета возрастала с каждым мгновеньем, захватывая дыханье...

— Спит, — донесся голос доктора.

Семеркин хотел возразить, но тут неожиданно выяснилось, что он больше не существует, -— ни его голос, ни его руки, ни его тело, — что нет ни стола, ни доктора, ни санитара, ничего, — что есть только легкое, бескрайное пространство, в котором на мгновенье зажглось и погасло неведомое созвездие и, все замирая, удалялся таинственный и холодный, астральный шелест бумажных листов...

«Однако, все же откуда этот шелест», — подумал Семеркин, прислушиваясь, и открыл глаза: ночь; в слабом оранжевом свете свечи, отгороженной картонкой со стороны Семеркина, сидел за столиком доктор, и, позевывая, перелистывал шуршащие страницы «Нивы».

— Вот мы и проснулись, — улыбнулся доктор.

Семеркин едва слышно прошептал:

— Я жив.

Путешествие кончилось.

13.

— Как хорошо! — вздохнул Семеркин, но тотчас, смутно припомнив что-то, спросил:

— Нога?

— Ножку вашу мы… того… сняли, — ответил доктор, — но вы не волнуйтесь: теперь, видите ли, в Гер- мании…

«Странно», — думал Семеркин, уже не слушая, — «как странно. Не может быть. Вот я сгибаю ее в колене, вот двигаю пальцами, значит — она существует…»

Семеркин отчетливо осязал свою ногу, чувствовал ее суставы, ее мускулы. Здоровая нога была тяжела и неподвижна, а та, которой не было, напротив, послушно исполняла все движения, какие придумывал для нее Семеркин. Внизу живота просыпалась грузная, нудная давящая боль, отделявшая измученное тело от нечувствительной к боли, невесомой и сильной несуществующей ноги.

«…Вероятно, вот так же смерть убивает видимую оболочку человека, а человечество продолжает чувствовать его незримое присутствие, его мысли, желание, как я чувствую мою отрезанную ногу… Разве мы сейчас, сегодня, не видим в небе свет звезды, погасшей тысячелетие назад?… Значит, окончательной смерти нет, значит, жизнь бесконечна…»

— Как хорошо! — снова произнес Семеркин, и последний звук «шо» слился с шорохом, с шелестом перелистываемых страниц «Нивы», поднялся и замер в вечности.

Крупные, неудержимые, давно назревшие слезы пролились из глаз, и лающие рыдания наполнили комнату.

— Успокойтесь, — заторопился доктор, — чувства всегда пробуждаются раньше сознания. Но это скоро проходит.

— Я за вас, за всех… Жизнь есть благо… Жизнь — благо! Я плачу, это глупо… я плачу от счастья за всех, кто живет, за все, что живо…

Доктор виновато пожал плечами.

14.

Степан Топориков действительно жил. Жизнь его текла самотёком, зарабатывал Топориков ордена...

Лунные, голубые снега льнули к желтеющим травам, покрывали тяжелым пластом равнины. Падали звезды в тихие океаны, которые, может быть, никогда не перелетит ни один авиатор. Горные кряжи оползали в моря.

Томились пещерным сном города и деревни, прислушиваясь к геологическим процессам; грезила, металась в бредовых видениях босая, больная страна — шестая часть земной поверхности.

На промерзлых подоконниках черных лестниц, за отсутствием свободной жилплощади, в шубах и валенках любили, целовались влюбленные, скользя, упираясь ногами в обледенелый каменный пол, стонали от счастья и тоски, глядя в разбитые окна на млечный путь, на Венеру.

Колыхались красные прямоугольники в лунных голубых снегах.

— Тащи его за вихры, долгополого! Бей в промеж ног!

— Яж ты ягода моя,
Послушай, девица, меня,
А не слушай тех речей
Моих подруг, сволочей!

«Во имя революционной дисциплины строжайше предписывается всем заградительным отрядам беспощадно расправляться с мешочниками, удвоить надзор...»

— Пихай его в прорубь!

— Кругом шишнадцать!

— Товарищи!

— Жид!

«Железнодорожные узлы, перегруженные продовольственными поездами, не в состоянии...»

— Спаси и помилуй.

— Первоначально Маркс исходил из Бланки, впоследствии — из Сен-Симона... Сущность, глубинность — от англичан... Сам же Маркс, как таковой, — бородатый дурак, да, да, дурак!

— Рабочие, красноармейцы, крестьяне! Советская власть, завоевывая позицию за позицией, призывает вас, беспощадно расправляясь с врагами революции, удвоить, утроить...»

— Все мы на бой пойдем
За власть советов
И, как один, умрем
За дело это!..

Смерть — плевое дело; жизнь — копейка; орел или решка, чёт или нечет, пан или пропал.

Спали последним сном дома, мостовые. Уплотнялись, перемещались, переставлялись и засыпали люди и вещи, живой и мертвый инвентарь. Холодные мерцали звезды.

> «На одного гражданина (гражданку) полагается: 2 простыни, две пары носков (чулок), две рубахи... Излишки должны быть безоговорочно и незамедлительно сданы в район под угрозой...»
>
> — Товарищи!
>
> «Все — на очистку выгребных ям! Освобождению подлежат беременные женщины (начиная с пяти месяцев беременности), старики не моложе 60 лет и увечные, потерявшие не менее 50% трудоспособности. Неявка влечет за собой...»

«...Все так ли нежны мои пальцы? Мой счастливый, далекий друг. Живя за границей, Вы даже не можете себе представить... Так в детстве или во время болезни падают к изголовью страшные сны... Мои бедные пальцы, Ваши пальцы потрескались, огрубели, покрылись заусеницами;

ногти (помните — «розовые миндалинки»?) пожелтели от махорки, которую я научилась курить. Если бы теперь (как когда-то!) я провела моей ладонью по Вашему лбу, на нем, наверно, остались бы царапины...»

— То-ва-ри-ищи!

— Жжжж...

— Железный кулак пролетарской диктатуры...

Временно исполняющий должность заведующего учетно-распределительным отделом — Врид — Зав — Учраспред — циркулем намечал плановые диаграммы. Ах, Степкины ордена, Красные Знамена!

15.

Парад Красной армии. Лубочная картина, в которую введено историческое лицо. В революционное время, вообще, бывает мудрено избегнуть встречи с историческими личностями. Обычно недоступные толпе, работающие в тиши своих кабинетов, на меблированных чердаках или, наконец, в прославленном, хотя и не имеющем точного определения, подполье, исторические личности с первых же дней революции начинают проявлять несвойственную им суетливость, скоро переходящую в назойливость и, покинув свои убежища, настигают обыкновенных людей, так называемых «простых смертных», везде, где только представляется возможность, обрушиваются на них с досчатых уличных трибун, с экипажей, с балконов, с пьедесталов позеленевших от ржавчины памятников великих предшественников, заполняют своими изображениями газетные листы, страницы журналов, обложки книг, витрины магазинов, стены домов, заборы, экраны световых реклам и кинематографов, кричат по радио на площадях, на перекрестках улиц и в других местах народных скоплений — всем, всем, всем! — стремясь заглушить один другого и, в то же время, не переставая отрицать значение личности в истории.

С течением времени, при таком образе действий исторические личности становятся своего рода наваждением, проникающим в мирную, каждодневную, комнатную жизнь человека. Так называемый простой смертный не может отправиться по соседству к приятелю или сбегать в ларек за папиросами, чтобы не натолкнуться по дороге на одного из героев истории...

Окруженный свитой, быстрыми шагами идя впереди других, принимал парад наркомвоен. В тот день, когда Топориков, восхитясь, глядел на радугу, наркомвоен, сойдя на перрон, тоже залюбовался ею. Он даже улыбнулся мечтательно, но эта улыбка не имела никакого отношения к истории. Исторический облик его, запечатленный в портретах, пронзителен и чужд улыбок.

Таким и в этот раз вошел он в лубочную картину парада на Красной площади в красной Москве.

16.

Стремительно поднявшись на трибуну, он сразу увидел всю площадь целиком, до самых отдаленных ее закоулков.

Шпалерами, во много рядов, лицом к Кремлю построились пехота, конница, артиллерия. За последним рядом — цепью милиция, за милицией — народ с пропусками и зайцы. Вдоль кремлевских стен — революционное кладбище, стена коммунаров. Перед ним — красные трибуны для членов правительства и для приглашенных, группы красных командиров в остроконечных шлемах, войска особого назначения в лиловых фуражках, филеры, снова милиция, репортеры, фотографы, расторопные операторы Совкино.

Солнце заливало площадь февральским золотом, голубая тень Василия Блаженного ложилась на снег, перекидывалась через Лобное место, вползала на стоявшие поблизости лафеты. Вороны черной дугой опускались на Торговые ряды.

Алели знамена, гремел «Интернационал», краскомы гарцевали, молодцы — один к одному, — сусальная, прекрасная красота!

Пятиконечная звезда на шлеме наркома — бирюзового цвета: цвет Реввоенсовета. Орден Красного Знамени с бантом — на груди. Глаза блестели из-под стекол огнем истории. С края, двумя ступенями ниже, — Топориков, телохранитель вождя.

Наркомвоен сделал рукой знак приказа и замер в полоборота к войскам. Площадь затихла. Громкоговоритель разбросал над площадью слова пачками, от запятой к запятой, с короткими остановками:

— Склоним знамена перед памятью павших! На нашем пути было много потерь. На крови героев мы празднуем наш праздник!

Он чувствовал свою вознесенность над десятками тысяч людей, и ему представлялось, будто тело его выросло до громадных размеров, что оно равняется высоте трибуны, а ноги упираются прямо в землю. Слова, подхваченные усилителем, разлетались вокруг трибуны волнующими синкопами; площадь была затоплена звуками сверхчеловеческого голоса.

Оттиснутые милицией к самым Рядам безбилетные зрители вытягивались на цыпочках, влезали на тумбы и оттопыривали свои уши ладонями. Фигура оратора на красной трибуне виднелась оттуда крошечным изваянием, и искусственная огромность голоса была непропорциональна и почти смешна...

— Войны исчезнут так же, как исчезли кровавые жертвоприношения... Красная армия — щит угнетенных, Красная армия — меч восставших!

17.

Но жизнь всегда отличается от произведений искусства, и, в особенности, от лубочных картинок. Естествен-

ная перспектива, уменьшившая до неузнаваемости фигуру народного трибуна в глазах безбилетных ротозеев, грубо нарушала собой величавую цельность зрелища. Еще более противоречил этому неслышный разговор, происходивший на трибуне для приглашенных под гул громкоговорителя.

— Большевизм, большевизм! Крах рационалистической аргументации! — шептал с опаской известный писатель на ухо известному художнику. На них обоих были одинаковые шубы с барашковыми воротниками, чухонские шапки с наушниками и желтые американские ботинки «Ара», выданные в кооперативе Дома ученых. Американские ботинки придавали костюму оттенок сурового, первичного благополучия. Оба не без гордости нащупывали в карманах розовые пропуски на почетную трибуну.

— «Революция — локомотив истории»! Бедные пассажиры! Но, знаешь, всякий раз, когда я встречаюсь с этим человеком, я чувствую... да... Революция, в сущности, есть не что иное...

На этих словах писатель вынужден был остановиться, так как начавшийся проход войск перед трибунами заставил его махать чухонской шапкой с наушниками и кричать «ура».

— ...революция есть не что иное, как отчаянный прыжок на десять шагов вперед, чтобы потом сделать девять шагов обратно. Один - единственный шаг перейдет в наследство будущим поколением, а остальные девять составляют непоправимую трагедию современников...

Но самым решительным несоответствием с общей картиной парада была, конечно, зевота Степана Топорикова, стоявшего двумя ступенями ниже вождя. Два часа держал наркомвоен правую руку у шлема, пропуская перед собой войска, допризывников, пионеров. Краскомы, видавшие виды, переглядывались в изумлении и не раз спускались по красным ступеням, чтобы покурить за трибуной и размять затекавшие руки. Два часа неподвижно держал свою руку у шлема Топориков. Он напрасно старался уйти в созерцание проходящих процессий; напрасно ерзал челюстью, пытаясь предупредить, разжевать подступающую зевоту, —

она подымалась в горле, шумела в ушах, и наконец, бессильный бороться, он уступал ей, растягивая рот до боли в висках и забывая все вокруг себя.

На исходе второго часа руки не стало... Плыли баржи по широкой Неве, черный буксир, подходя под Дворцовый мост, склонял задумчиво высокую трубу с красным ободом. Серый дым, вырываясь из-под моста, заволакивал прохожих. Клубилась прозрачная Биржа...

Сквозь сон, сквозь Биржу разглядывал Топориков исторический полуоборот вождя. Гигантский, с трезубцем в руке, он сидел на цоколе красной Ростральной колонны.

18.

Сверкало солнце, весна хмелила, колдовала.

Наливался воздух черемухой. Москва процветала. На углах выросли кокетливые пепельницы, а возле пепельниц — груды окурков и шелуха подсолнухов. Божьи старушки, уцелевшие в бурях, повылезали на первый припек на скамейки. Пикниками ходили рабфаковцы на Воробьевы горы, смотрели на весеннюю даль в трубу с террасы, бывшей Крынкина. Беспризорные возвращались под вагонами на теплые месяцы с кавказских курортов. Залегли голубиные лихачи на козлах у Страстного монастыря, румяные матерщинники. Обрядился московский люд в парусиновые толстовки. Женщины щедро рожали, исполняя социальный заказ.

Начиналось мирное строительство.

Новый человек, Егор Балдихин, парень малярного цеха, повис на дощечке под крышей пятиэтажного дома и, размазывая дилижансом золотистую, соломенную охру по стене, горланил на весь Свищев переулок «Последнее танго». На Советской площади пожарную каланчу старого режима снесли ко всем чертям, чтобы глаза не мозолила. Поезд Реввоенсовета, метеор революции, расформировали в два счета: паровозы-снаряды впрягли в подвижные сос-

тавы Рязанско-Курской железной дороги, а типографский станок, вместе с Топориковым и другими трофеями, перевезли на Тверскую, в Музей революции, в бывший Английский клуб. Расчистили скверик перед музеем; древних каменных львов, что на левых воротах, сохранили на прежнем месте из уважение к старине, а правыми львами украсили портал Кино-Арса, по соседству...

Стоит Степан Топориков в музее, в комнате поезда, несет почетный караул, в полной парадной форме с отличиями. Заодно с типографским станком и другими трофеями: живой и мертвый инвентарь. Четвертак серебром за вход, по воскресным и табельным дням бесплатно.

Невредно инвентарное житье, надо прямо сказать: житье приятное. В будни, когда четвертак, такая иной раз бывает тишина в музее революции, что становится слышно Топорикову, как борода растет. Никто не беспокоит, со всех сторон уважение, работа вполне подходящая. По воскресеньям и в праздники наплывают в музей экскурсии. Старые залы Английского клуба внимают грохоту сапог, впитывают в себя разные запахи. Крепче всего пахнет дегтем, и этот запах очень нравится Топорикову.

Спрашивают иногда экскурсанты:

— Вы сами-то, товарищ, не с поезду Троцкого будете?

—Безусловно, с поезду.

19.

У Топорикова баба классная, Клаша. Белая и румяная, облака на заре. Роман простой и ясный, без канители, канителиться некогда.

Служит Клаша кастеляншей в «Капле молока» имени Розы Люксембург. Носила раньше римский бант и гамлетку, теперь повязывает голову красным платком и волосы стрижет в скобку. Забот полон рот. С девяти до четырех толкутся в приемной бестолковые бабы с грудными ребя-

тами, потеют, пихаются, а ребята исходят криком на разные голоса.

— Зверья от вас не оберешься! — ворчит Клаша, — чистая с вами вахтаналия!

Получает Клаша за свои труды комнату под лестницей и усиленный паек матери, кормящей грудью.

Вечерами отдыхает Клаша у окна, полузакрыв глаза. Подойдет Топориков, постучит в стекло, крикнет в форточку:

— Клашка, а Клашка, чего делаешь?

— Мух считаю.

— Пойдем, пошлепаем?

— А и то, пойдем.

Гуляют вдвоем по Тверской, по бульварам, подходят к ларьку купить поштучно шоколадных ирисок. Эпизодическая личность газетчика Петьки неожиданно поднимается из-за прилавка.

— С превеликим! — говорит Петька и тянется на вторую полку справа в красный ящик с ирисками.

Купец и покупатель встречаются глазами и смотрят друг на друга. Но они даже не помнят о своем мимолетном знакомстве на Малом проспекте Петербургской стороны. Тем не менее, их теперешняя встреча патетична и замечательна: она еще раз намекает на ту странную связь явлений, к которой тяготеет природа, устанавливающая черед приливам и отливам и заставляющая комету появляться над Арбатом каждые сто лет. Иначе для чего бы, в самом деле, надо было газетчику Петьке из недр беспризорного кочеванья, из вонючих теплушек, тифозных бараков и снежных сугробов — выплеснуться в столицу, в Москву, к памятнику Пушкина? Для чего бы загадочный путь папиросника привел Петьку в новенький, яркий, зелено-красно-желто-лиловый ларек под вывеской: «Торговля всеми товарами Петра Ив. Сундукова»?

Петьке пошел двадцатый год. У Петьки деловито-лукавые глаза — не обманешь, не продашь, — загорелый румянец и франтоватая пиджачная пара. Пупырявость, однако, прежняя — таково естественное свойство Петькиной кожи...

Купив ириски, Топориков, как ни в чем ни бывало, продолжает прогулку с Клашей, проходит мимо серых и красных домов, мимо Камерного театра, бульварных писсуаров и удивительных законов природы и заворачивает в пивную Мосгико послушать культурно-просветительный репертуар балалаечников. В зале накурено, надышано, на столе — полдюжины Дурдина, на эстраде — музыканты в толстовках. Вечер незаметно летит, пролетает. В полночь крикнет веселый Топориков:

— Эй, молодой! Разгонного парочку, будьте настолько сдобны!

«Молодой» встрепенется, поправит деревянную ногу и заковыляет с подносом к столику. Деревянная нога — это, пожалуй, единственная действительность, а все остальное — детство на Ропшинской, старый профессор, все — до березовой рощи — разумеется, сон, которому лучше не верить.

Топориков отводит Клашу домой. Ночью в Клашиной комнате шепчутся, не нашепчутся, какие слова шепчут — сами не знают. Молочное Клашино тело становится влажным и жарким... А на утро расходятся — в музей и в «Каплю молока» — здоровые, довольные, сытые — и кому какое дело до их махрового счастья?

20.

Сидит Топориков на своей постели, гимнастерка расстегнута, — играет в шашки, в поддавки, с товарищем Петровым Гошкой...

Выпадают снега, белыми хлопьями пятнают небо; растут сугробы во дворе Музея революции; серебристые, седые попоны ложатся на каменных львов Английского клуба и Кино-Арс-Театра. Белые, медлительные хлопья голубеют к ночи, кружатся над Москвой, над Петербургом, над Россией, над Советским Союзом. Ползают по квадратикам Степкины шашки...

Новые весны перекликаются с ушедшими — через снежные вьюги, через зимы, январи, феврали. Изнуряют горячую землю душные летние месяцы, засухи, недороды, и опять вьются снега над Москвой, над Россией, до первых весенних разливов, до знойного лета.

— Мамка, подсолнухов!

Так, просыпаясь поутру, кричит Степанов первенец:

— Подсолнухов!

— Господи, да что ж это за малый на мою голову навязался! Паралик тебя расшиби, хомяк здоровый! — отчаивается белотелая Клаша.

— Тащи подсолнухов!

— Создатель ты мой, подсолнухов ему с самого утра! Лисичка моя поднебесная, окаянный черт...

— Подсолнухов!!

Выпадают снега, пухнут сугробы.

Мчится пятилетний Санька Топориков на салазках, обшитых красным кретоном, головой вниз. Скользят полозья с ледяных гор. Широкие московские дворы, церковные маковки, граммофоны в чайной «Красная радуга». Сквозь оконце в своем домишке на Хапиловских прудах новый человек Егор Балдихин выводить тонюсенькую антенну...

> «Дорогая Варвара Петровна!
>
> Мы все об вас скучаем и беспокоимся может Бог даст еще когда-нибудь увидимся. Что мы все очень желаем. Все об вас скучают Люська, Анюта, Ольга, Анюта Бондарева, Маруся все рады узнать об вас. Племянник ваш Колька через ихнюю вузовскую нагрузку заболел трепанацией черепа. Живет он плохо. Прошу вас напишите про Тоню детально как она живет с кем крутит. Мы все пока живем, слава Богу, по-старому. Женька ваш из тюрьмы не выходит за растраты. Все живет с женой. То развод, то снова живет. Зойка живет очень славно в Канавине. Аська тоже хорошо живет с ихним нэпманом. Они свиделись в Канавине у дяде Саши. Ушла вторая молодая жена. Живет он плохо. Старик Василий Топориков,

моему мужу папаша, помер с водянки за полным недостатком колориев. Я ему схлопотала усиленный паек матери, кормящей грудью категория Б, как нуждающем в подсобном питании, но пока суть да дело да буза Василий Захарович приказали долго жить. В канун похорон как раз и паек вышел так, что слава Богу было чем помянуть, так все удачно вышло. Ваня летчик жив. Поживает он хорошо. Кланяется барышням. Муж мой слава Богу, все состоит музейным деятелем. Как хотелось бы увидеть вас, как вы смотрите? Постарели или никогда это до вас не будет благодаря вашему характеру жить? Торговлишку мою бельевую, довожу до вас, записали для порядка на ваше имя. Ходим в кино «Новый быт». Любимая артистка Мэри Пикфор.

Обнимаем премного вас
Ваша Клаша Топорикова».

Бросив в ящик письмо, Клаша села у ворот на лавочку поглядеть, как снуют — ух, ты! — взад и вперед различные граждане. Вся укутанная астраханским каракулем, она сопревала от мехового тепла и собственной жаркой крови.

— А шубка эта, милые, народная, — поясняла куличовым, ванильным голосом Клаша завистливым соседкам, — нонче, милые, все добро — народное.

21.

Синеют снежинки к вечеру. Степан Топориков сидит на постели, играет в поддавки с Петровым Гошкой и рассказывает:

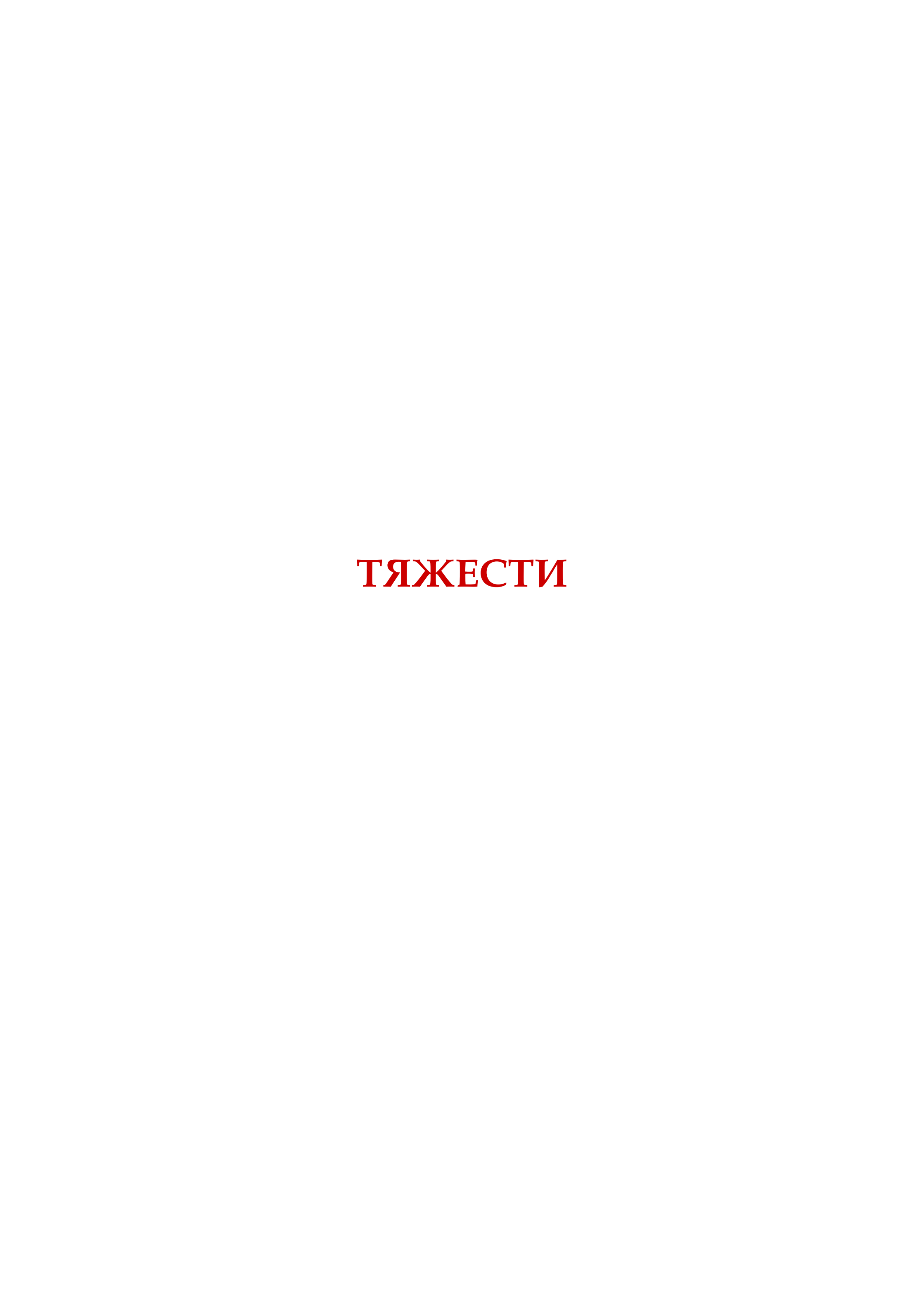
— Начал у меня живот припухать, братишка. Испугался, не водянка ли? Доктор говорит: разденьтесь и обнаружьте ваш пупок, товарищ Топориков. Смотрю — где пупок? Смылся, дьявол, затонул в брюхе! Доктор советует: можете

вашу адскую мнительность ликвидировать; помереть, конечно, всегда поспеете, жизнь — как картуз с двумя козырьками: здрасьте — прощайте, пролетарское вам с кисточкой! А покуда, говорит, ваш пупок ушедши внутрь и наружу не оказывается — ничего подобного быть не может. Просто, говорит, уважаемый гражданин, жир нагуливаете; просто толстеть, что ли, придумали, уважаемый товарищ Топориков?

Медленно, в дреме, ползают круглые шашки по квадратикам. Блестит у Степана нос лиловатым отливом. Бьется сердце под гимнастеркой аккуратно, как в аптеке. Жизнь течет самотеком.

Покой; тишина.

Сон.



ТЯЖЕСТИ

1.

Продольный разрез араба Саида Бен Аршана напоминает знакомые с детства изображения шахт: дыхательные пути, гортань, пищевод — черны, как штольни, как подземные коридоры и переходы; в том месте, где бьется сердце, скапливаются легковоспламенимые вещества, и каждую минуту возможен взрыв. Но взрыв не очень страшен, и никто не принимаете предохранительных мер. Серая кожа на лице Саида Бен Аршана скомкана, сморщена, в ямках, в припухлостях, в темных, черных рытвинах, колеях и ухабах. Нужно ли говорить о чертах лица? Их описание годно лишь для иллюстраторов, лишенных воображения, и для полицейских архивов, а потому из этой книги портретные приложения будут намеренно устранены. Глаза Саида Бен Аршана слезятся мольбой, ненавистью и страхом. Голый до пояса, покрытый ворванью черного пота, араб Саид Бен Аршан сгибается над мартеновской печью; в черном воздухе летают огненные мухи. Саид Бен Аршан дышит угольной пылью, ресницы выжжены, глаза слезятся, и слезы, не успев скатиться по щекам, испаряются, подобно капле, упавшей в огонь. На такую работу людей не берут: берут арабов.

Светлое небо голубеет над крышами; на тротуарах — мраморные столики кафе; шуршат автомобили по асфальту Елисейских полей; художники на улице Боэси устраивают шумные вернисажи, оспаривая друг у друга право на вечность; студенты целуют девушек в тени Люксембургского сада, где скользят по воде бассейна игрушечные яхты и заводные броненосцы; братья Фрателлини улыбаются с высоты городских писсуаров; на ступенях Биржи, среди дорических колонн, черные толпы дельцов кричат, уподобляясь хорам античной трагедии; над серыми крышами, в светлом небе плывут облака, задевая за Эйфелеву башню; депутаты в парламенте большинством 300 против 200 выражают доверие правительству...

Вечером Саид Бен Аршан, надвинув берет до ушей, бродит, прогуливается по бульвару. Над головой, по гудящим

мостам, гремит метро. Железные скрепы, упоры, перекладины мостов, ветви платанов, стены и крыши пропитаны жирной копотью, угольной сажей. Лают автомобили. Бродят, прогуливаются арабы — с такими же серыми лицами, в таких же беретах, в проношенных и стоптанных ботинках с оборванными шнурками, в дырявых войлочных туфлях. Саид Бен Аршан подходит к ярко освещенной двери; над дверью горит огромный номер — 72, ставни закрыты круглые сутки. Там, за светящейся дверью — тепло и уют. Над кассой розовое пятно приветливо выжмет из себя улыбку. За несколько франков Саид Бен Аршан получит вино, граммофонный концерт и мягкую женщину в мягкой постели. Ему не хватает в жизни уюта, заботы и ласки. Правда, он еще не совсем человек, он лишь первоначальный набросок, лишь черновик, многое человеческое ему еще недоступно и даже вредно, но в таких простых вещах нуждаются не только люди. В доме под № 72 он встретит тень, предместье, осколок любви.

Рядом с Бен Аршаном сидит женщина, чуть прикрытая зеленым передничком. Да, она голая: вот ее круглые груди, вот складка на животе, вот синяк над коленом. Это — его, Саида Бен Аршана, женщина. Она вяжет голубенький шарфик, протянув ноги на соседний стул; вяжет, вероятно, со скуки. Но ему нравится, что она вяжет: он пришел сюда, как в семью. Раздетая женщина, увлеченная вязаньем, — все самое женское, женственное, собрано для него в этом образе. Саид Бен Аршан оживает. Он здесь равен с другими, он такой же, как все, как тот веселый солдатик, что сидит напротив него, обняв женщину в желтом передничке, как два художника с Монпарнаса, как почтенный, усатый рабочий — должно быть, вдовец. Саид Бен Аршан слушает музыку, гладит голую спину черной рукой, почти улыбается и почти дремлет. Но женщина кладет вязанье подле бутылки и скрывается с новым пришельцем, которого Саид Бен Аршан не успел разглядеть.

— Моя, — произносит Бен Аршан, и все вокруг него становится красным.

— Где твоя? Почему твоя? — выплывает голос из-за конторки, и Саид Бен Аршан впервые видит глаза на розовом, теперь — красном, пятне.

— Отдай, моя! — кричит Бен Аршан, вставая.

— Моя — твоя! Здесь нет моя — твоя! Здесь все — гости!

В сердце происходит взрыв, и тогда Саид Бен Аршан втыкает нож в оплывшее жиром горло бандерши...

Когда весенним утром бегут вдоль парижских тротуаров ручьи — не обольщайтесь: это не талые снега, размытые солнцем, это — санитарная служба городского водопровода. Вода, вырвавшись из подземных труб, моет, стирает, прополаскивает мостовую, унося с собой остатки суточных отбросов, выставляемых за ночь в железных ведрах на тротуары. Вода уносит с собой картофельные очистки, консервные коробки, газетное рванье, тряпки, хлебные корки, обглоданные кости, шелуху какауэток и голову араба Бен Аршана.

2.

Такова несложная схема агитки, направленной к возбуждению чувства социальной несправедливости. Даже поверхностного чтения достаточно, чтобы признать заключительную фразу неправдоподобной. Араб Саид Бен Аршан не мог быть обезглавлен, так как закон казнит лишь за убийство с заранее обдуманным намерением, либо за убийство из засады, либо в том случае, если оно предшествовало, сопровождалось или следовало за другим преступлением. В домике № 72 ничего такого не произошло. Совершив убийство в состоянии раздражения и запальчивости, Саид Бен Аршан вырвался на бульвар, под грохочущие мосты метро, и так бежал под черным сводом мостов (над ним мелькали вагоны, и каждый свисток казался выстрелом, каждый встречный араб казался ловчим), пока не добежал до красного перекрестка, горевшего красным заревом пожара, электрической кровью притаившейся за углом вывески:

«CINEMA-PALACE».

Там, окруженный со всех сторон свистками и велосипедистами, Саид Бен Аршан был схвачен, причем ему изрядно намяли бока и закрыли слезящийся глаз. Таким образом, Саиду Бен Аршану грозила не смерть, а в худшем случае каторга.

Согласно статье уложения о наказаниях, каждому приговоренному к смерти отрубается голова. Приведение приговора в исполнение при помощи гильотины, прозванной «теткой», утверждено декретом от 20-го марта 1792-го года, то есть полтора столетия тому назад. Как в медицине длится спор терапевта с хирургом, так и здесь находятся люди, обогащающие законодательную мысль идеями оперативного вмешательства. Преступность, в свою очередь, растет, независимо от роста казней, и даже наперекор ему, подобно раковой опухоли, которой не страшен нож, или сорной траве в огороде, сколько бы ее ни выпалывали. В лучшем случае число преступлений стоит на точке замерзания, если можно так назвать дымящуюся лужу крови... Так или иначе, Зина Каплун, манекен из дома Люси Верже, узнала о казни, сидя в кинематографе «Palace» с инженером Ксавье. Значит, тут не простая агитка, и Саид Бен Аршан был действительно казнен, — никто не знает, кем изготовляется гильотина, каким заводом или кустарем-одиночкой выделывается трапециеобразный нож (хотя всем известны имена Круппа и его конкурентов), как не знает никто того места, где вагоны метро впервые ставятся на рельсы, словно вагоны родятся в недрах земли. Казни, в сущности, не было видно, не было также ни гильотины, ни палачей, ни преступника: по экрану плавали мутные силуэты конных гвардейцев, шевелилась ночная толпа, впрочем, тоже не попавшая к месту казни, за исключением двух-трех десятков счастливцев и любопытных, получивших особые пропуски (чины судебного ведомства и прокурорского надзора, адвокаты, журналисты, Иван Сергеевич Тургенев и некоторые другие); еще оглядывался с экрана на зрителей полицейский, чем отличался от профессиональных актеров, кото-

рые никогда не смотрят в объектив. Дальше — на бульваре Араго — происходило то, чего не показывали в кинематографе «Palace»: люди, отталкивая друг друга, топтались в том месте, где пролилась кровь казненного, топтались, желая кровью смочить подошвы, потому что это приносит счастье, как веревка повешенного, и топтанье походило на танец, и полицейские, уже потерявшие торжественность, группами расходились по участкам, не глядя на танцующих. А на экране леди Макбет, улыбаясь, без труда отмывает руки от крови мылом «Люкс».

Зина Каплун курит папиросу, думая о Ксавье, рука которого гладить ее колено. Статуя Свободы возносит факел в облачное небо; нагромождаются небоскребы, медленно плывет над их кубами дирижабль, мигают прожекторы автомобилей, молодой миллионер Элисворт Хоппин входит в подъезд игорного клуба. Ксавье часто, слишком часто целовал Зину Каплун, поцелуи теряли свою остроту, клейкий привкус влюбленности. Наступала скука опустошенных чувств. Рука, лежащая на колене, вызывала теперь досаду и сама минутами как будто засыпала. Миллионер Элисворт Хоппин с глазами пумы.

—Пойдем? — произносит Ксавье.

—Пойдем, — соглашается Зина.

Элисворт Хоппин вернется к своей невесте. В комнате инженера Ксавье много цветов, бутылок и чертежей; на стене, за рабочим столом, висят пачки неоплаченных счетов: так в Доме инвалидов висят забытые — когда-то славные — знамена. Играет граммофон под сурдинку: холодная тоска утерянных чувств. Зина Каплун отстраняет руку Ксавье, хочет крикнуть, встать и уйти, но снова откидывается на диван, шепчет:

—Только, пожалуйста... без сантиментов.

И закрывает глаза.

3.

День. Синяя тяжесть, опускаясь к земле, сжимает накаленный воздух. Потный Париж, в ночных туфлях, в подтяжках, без галстука, пробавляется пивом и лимонадом, лениво слушая радиосплетни...

В голубом, изнуряющем зное, на кирпично-красных прямоугольниках теннисной площадки чемпион мира теряет свое первенство. С верхних рядов трибун видны на дне воронки крохотные существа, подобные белым бабочкам, перелетающим с кратчайшими остановками (запятые, точки, восклицательные знаки полетов) с места на место по красно-коричневому полю, разграфленному белыми линиями. Чем ниже спускаться по рядам, тем вещественнее становятся белые очертания игроков, тем человечнее их движение, полеты расчленяются на бег и на прыжки, певучий звон мячей о ракеты все точнее совпадает с видимым моментом удара. С середины трибун уже различимы напряженные мускулы коричневых рук, прозрачность намокших рубах на спине, сосредоточенность взглядов. Внизу, у барьера, над самой площадкой, игроки окончательно преображаются в живых людей, загорелых и стремительных; мускулы вздрагивают на скулах, пот стекает по лицам, блестит на носу, на губах, струится от локтей по жилистым рукам к ракете. Игрок, в погоне за мячом, наскочил на барьер; капли пота, сорвавшись с волос, упали на лицо сидевшей в первому ряду девушки, — орошенная, она счастливо засмеялась: перед ней в удивительной близости разогнулся коричневый атлет.

В перерыве (пока арабы, похожие на Бен Аршана, причесывали, приглаживали, принаряжали кирпично-красную площадку, измятую и растрепанную борьбой, как лицо боксера; пока возбужденные толпы переливались по лестницам трибун в зелень, в шуршавший гравий парка, к лимонадным павильонам, в открытые террасы буфета и снова вверх по лестницам, по узким горлышкам леек, чтобы, опрокинувшись, разбрызгаться по трибунам; пока неистовые

горлодеры, в белых халатах, бросая зрителям цветные фунтики мятной карамели, ловили двухфранковики, подобно чайкам, что с озорным ребяческим криком перехватывают на лету бросаемые с палубы подачки; пока орали громкоговорители, сообщая спортивные новости дня и, вдруг, три раза подряд, настойчиво и упорно предложив доктору Тиссьеру немедленно выехать по такому-то адресу; пока продымилось внезапно возникшее над флагом прозрачное облачко; пока архитектор Сережа Милютин, за которого уплатил Ксавье, цедил из бутылки морозный лимонад, стоя без пиджака в боковых рядах трибуны), в эти четверть часа перерыва чемпион мира, после массажа и обтирания переодевшийся, причесанный и приглаженный, как теннисная площадка, шутил с друзьями, рассеянно выслушивал советы и уверял газетных репортеров в очевидности своей победы.

Два белых гладиатора, две далекие бабочки, снова на арене. Интерес к борьбе восходит к высшей точке. Даже президент республики, двадцать часов тому назад отдавший правосудию голову Саида Бен Аршана, нагибается к перилам своей ложи, боясь упустить драгоценную нить движепш. Чемпион мира теряет одно очко за другим. Противник режет мячи у самой сетки, отсылая их под углами, нарушающими установленную логику траекторий, и снова ловит мяч в глубине площадки, под ложей журналистов — то следящих за игроками, то опускающих глаза на самопишущие перья.

Прожужжавший над стадионом аэроплан истаял в сверкании; раскаленное солнце, застывшее было в небе, передвинулось в сторону, прикрыло синей тенью часть трибун и стало медленно разматывать теневой ковер с одной стороны площадки на другую (архитектор Милютин и Ксавье сняли бумажные треуголки с потных голов).

Чемпион мира заносит ракету — струны всхлипнули, пропустив воздух, — и вдруг беспомощно и неуклюже рушится на огненный песок, на дно воронки, перечеркнув откинутой рукой белую линию.

4.

Милая Ириша, вам уже, вероятно, стукнуло тридцать. Когда вам будет сорок, а мне за пятьдесят, я скажу вам: будем жить вместе. Потому что вы — единственная женщина, которую я так сильно любил, и единственная из любимых, оставшаяся недосягаемой. И вы, располневшая, сорокалетняя, но с теми же веселыми зубами, наверное, снова ответите отказом...

5.

Париж, в ночных туфлях на босу ногу, лениво слушает радиосплетни. Чемпион сира не пожелал дать интервью, и лишь сотруднику еженедельника «Спорт» сообщил, что проиграл свой матч потому, что не сумел выиграть. Автомобили ворчат, с трудом пробираясь в толпе, ползущей со стадиона. Имя победителя выкликается газетчиками, — оно успело уже долететь до редакции, переброситься в типографии, отлиться в шрифт, включиться в верстку и вернуться к воротам стадиона на страницах вечерних выпусков.

Автомобили с ревом вырываются на свободные пространства и, перегоняя друг друга, мчатся к Парижу, предвкушающему первую свежесть вечера. Сережа Милютин, простившись с Ксавье, идет затененной аллеей, мороженщики подстерегают на углах, автомобили проносятся к Парижу, под ногами шелестят опаленные листья, бумажки от мятных леденцов, листки спортивных объявлений, Сережа Милютин идет не торопясь — ему спешить незачем — идет, оглядываясь на прохожих, слушая гудение моторов, уже стихающее вдали, слова о поражении чемпиона, все менее внятные, идет, наступая на листья, к тому полустанку, где начинается жизнь, где, летним вечером, сойдя с почтового поезда на камушки крохотной платформы, мимо которой,

не замечая ее, летят скорые поезда, студент-гражданец Сережа Милютин, пройдя вдоль отцветших кустов сирени, покрытых паровозной пылью, посмотрел на водокачку, на ее огромный, понурый хобот, на зелень берез и церковную луковку, упакованную в зеленую бумагу для отправки малой скоростью, посмотрел на все это и еще на небо, обогнул вокзальное строеньице и сразу узнал плетеный шарабан помещика Белаго. Протарахтев бревенчатым мостом, миновав березовую глубину единственной улочки, шарабан, мягко пыля луговой дорогой — ромашки, васильки, колокольчики — везет Сережу Милютина в усадьбу «Колотуши». Неглубокая речка крутит петли, то синие, то желтые, то зеленые, стайка слепней над лошадиным паром; розовеют облака, ленивые, как ангелы.

6.

Висячая лампа над столом, самовар, варенья, громогласные речи Андрея Степановича Белаго об уходе Толстого, о болезни наследника, о пчельнике и об охотничьих ружьях, о том, как Николай Первый сделал Пушкина поэтом, не то писал бы Пушкин всю жизнь похабные стишки, о том, что с художников надо стащить штаны и устроить публичную порку, — а Миша Белаго, студент-филолог, любит «Демона» Врубеля, а племянница Мурочка, гимназистка седьмого класса, любит репинский «Какой простор», а Сережа Милютин — «Вихрь», а чеховский доктор-земец любит «Девятый вал» Айвазовского, и Анна Матвеевна Белаго подкладывает на блюдца варенье из черной смородины. Беседы, когда в каждой фразе Сережи Милютина есть что-то сказанное для одной только Мурочки, а в ее словах — что-то сказанное для одного Сережи, и уже чеховский доктор, которого все называют «докторцем», неожиданно произносит:

— Нуте-с, извольте ли видеть, архитектор-то наш, кажется, того — замурован.

Летят горячие дни, Миша Белаго часами лежит в диванной, окруженный книгами, и не успели еще спасть жары к августу, как в ближайшем городке Сережа Милютин с гимназисткой Мурочкой, обнявшись, плачут в номере гостиницы «Большое подворье», истово плачут, обнявшись на краю постели, плачут от любви, счастья и горечи, потому что им кажутся нестерпимой обидой и надруганием убогий рай меблирашек, диван с подломанной ножкой и облупленное брюхо комода. Так, не доплакав, вздрагивая от рыданий, Сережа заснул на руке у Мурочки, а когда рука затекла, Мурочка не посмела высвободить ее и с ноющим плечом заснула тоже. Половой, в белых штанах и прюнелевых штиблетах, неслышно пробегает по коридору; во дворе стоят телеги, оглоблями вверх; распряженные лошади пережевывают сено, обмахиваясь хвостами; в соборе отзвонили ко всенощной; потемнело небо; зажженные фонари и окна опрокинули городок в темноту, все реже поскрипывали досчатые тротуары и лишь «Большое подворье» звенело и щелкало посудой и биллиардными шарами. Сережа Милютин спал без снов, заплаканный и счастливый, и Миша Белаго, приехавший в плетеном шарабане на станцию, дождался последнего поезда, пришедшего из городка, и один ночными лугами возвращался в «Колотуши». Горели звезды, стрекотали травы, в ложбинках тянуло парным, болотным теплом, а по холмам струилась прохлада.

7.

Миша Белаго, окруженный книгами, изредка посматривает близорукими глазами за окно, в ненужное, шумное, пестрое, и только Мурочка, ее коса или губы — в сущности, как это странно! — таинственно нарушают стройную систему книжного мира. Ну, погодите, давайте продумаем все по порядку: ну, хорошо, ну — загорелые, босые ноги и, скажем, летнее платье, на миг взметенное ветром, и выше колен светлеют ноги, там нетронутые загаром… Миша Бела-

го улыбается хмуро и злобно, звезды вздыхают, стрекочут травы, лошади брякают погремушками сбруй. Тяжелеет голова, Миша Белаго выворачивает наизнанку прочитанный мир, ища ответа и объяснения, Миша плачет от страха и боли, вожжи рвут лошадей, мелькают страницы, — дайте сперва надышаться! — и вдруг ничтожная случайность, копеечная свечка, от которой сгорит Москва... Миша Белаго чувствует, что он давно и тяжко болен, но что, может быть, именно этой ночью начнется выздоровление, что еще одна-две версты и возникнет радость, самая щедрая радость в жизни: радость выздоровления. В диванной он шагает из угла в угол, от двери к окну, от дивана к печке (вокруг — его книги), он шагает, наслаждаясь все взрастающей легкостью походки, все растущим чувством освобождения. За окном неторопливо светает, — еще одно усилие, и Миша будет здоров. Он снимает со стены охотничье ружье, тяжелое двойное дуло невесомо, Миша задыхается от наслаждение, крадучись выходит в рассветный сад, капли с листьев упадают на лицо, на руки, трава холодна под росой, свистят о заре пичуги, благостна ранняя прохлада, Миша торопится, бежит, и, не добежав, останавливается с бьющимся сердцем: пусть — здесь, под этой березой, пусть — слишком близко от дома, но сердце бьется так высоко, сердце бьется у самого горла, и немыслимо более ждать. Миша опускается на колени и опирает ружье прикладом в мокрую траву, дуло к груди; Миша Белаго счастлив, он смеется — впереди все ново и неиспытанно, столько вещей для наблюдения! — он нажимает курок, но дело в том, что вокруг темнеет, и Миша Белаго ничего не может рассмотреть.

8.

Чеховский докторец, человек полузабытый, теперь выступает на первый план; все молчаливые вопросы обращены к нему, все надежды — вокруг него; чеховский докторец, опрокидывая на руки глиняный рукомойник, подвешенный

в сенях на веревочке, отвечает мечтательно помещику Белаго:

— Будем живы-здоровы — все помрем, — вслед за чем углубляется в рассуждение о бессилии науки, о том, что медицина не может бороться со смертью, что медицина стремится лишь утешать страдания умирающего и отдалить конец, что, вообще, человек не успеет оглядеться, как его уже просят сойти с дороги; здесь много слов-попутчиков, бегущих рядом с мыслью, и разговор о том, что в иных вопросах люди на всю жизнь остаются гимназистами... Докторец собирался добавить, что в неведении кроется даже некая сжигающая душу прелесть, но, заблудившись в словах, заметил, что в комнате никого не было и, следовательно, он рассуждал сам с собой. Докторец хотел было посетовать на свое невнимание к людям, но почувствовал, что если уж заниматься рассуждениями, то приятнее всего рассуждать в одиночестве, в саду, среди солнечных пятен, пока зелень еще не просохла и отсыревшие белеют стволы берез; сойдя со ступенек террасы, докторец испытывал приятную, не вполне обычную легкость и, сделав несколько шагов по саду, стал подыматься на небо. Пробившись сквозь влажную листву, он очутился над деревьями и, чтобы удобнее было передвигаться, лег на бок, взмахивая руками, подобно пловцу — саженками; чесучовый пиджак вздулся парусом, увеличивая скорость, к которой, впрочем, докторец не стремился. Зато, летая, он менял направление, раза два нырнул, чуть не задев за верхушки деревьев, и тут же решил, что нырять следует на более высоком месте. Снизу, от зеленых усадебных крыш, от зелени сада, доходил негромкий свистящий гул, в который не было желания вникать. Однако, оторвавшись от земли, докторец потерял нить своих размышлений и никак не мог к ним вернуться. Тогда он лег на спину, чтобы отдохнуть и почитать в совершенном небесном покое «Русское слово». С трудом достав газету из кармана чесучового пиджака, не перестававшего биться и парусить, докторец развернул ее, но ветер вырвал газету из рук, и она унеслась в высь, сначала задержавшись и перевернувшись над головой, потом стремительно уменьшив-

шись и пропав в синеве. Докторец плыл и в шуме, доносившемся снизу, едва различал плачущий голос Анны Матвевнь, говорившей, что ужас, что случился ужасный кошмар, что бедный мальчик, мой мальчик, несчастный мальчик, но что Сережу она простила, потому что когда-то была на Бестужевских и осталась с тех пор сторонницей раскрепощение женщины, а на дворе, за плетнем, неугомонно кричал петух, как будто его без конца просили биссировать; бедный мальчик, единственный мальчик, все так невероятно и страшно, особенно при его здоровье и добром сердце, и чтобы Андрей Степанович постарался заснуть, что она сама, она все сама и, действительно, было непостижимо и странно это звонкое, теплое, зеленое утро и тревожное затишье в доме, пугливый шепот в людской и на кухне, хихиканье кухаркиной воспитомки Аниськи, спешный отъезд гимназистки Мурочки в Тулу к родителям, беспечное, чистое птичье свиристенье, и летающий в небе чеховский докторец, и Сережа Милютин, сидящий у постели товарища, как в забытой картине передвижника: там тоже — косоворотка и выше колен смазные сапоги и, кажется, тоже книги, раскрытое в лето окно и присутствие смерти. Миша Белаго неподвижно лежит, отвернув голову к стене. Ослепительно зеленеет окно, зеленый блеск скользит по половицам, зеленое мерцание наполняет комнату, потолок, обои. Мельком взглянув на Мишу Белаго (беспомощно примятые волосы и восковая бледность уха), Сережа переводит взгляд на окно и, не отрываясь, смотрит в жаркую зелень лета. Иногда незатейливо посвистывает скрытая в листве пеночка; иногда струнным гудением возмущает покой невидимо пролетающий жук; совсем далеко, за парком, за банькой, за людскими избами у самой реки еле слышно расплескивается гармонь, и висит-висит в зеленом воздухе, чуть покачиваясь, ситцевый бабий голос: так сладостно, безвольно, с ленцой, поет настежь раскрытое в зеленый сад окно.

Миша Белаго поворачивает серое, с зеленоватыми отсветами лицо; глаза неузнаваемы — застывшие, побелевшие — в упор смотрят на Сережу Милютина (Милютин вспомнил перламутровый лоск чешуи, судаки, ерши, оку-

ни, салаки, разложенные на скользких прилавках, покрытых мохом, снетки в корзинах и бочках, — влажное серебряное рыбье кладбище, белесые, мутные, уснувшие глаза). Миша Белаго смотрит, не моргая, и с трудом произносит:

— Мурке, Бог с ней, передай мое фе.

9.

Скрытая в листве пеночка продолжает насвистывать, пощелкивать, такать. Пеночка поет с утра и до захода солнца. Напевая, она вытягивает шейку, наклоняет голову и слегка вздрагивает крылышками, перелетая с ветки на ветку в гуще фруктовых садов, в кустах малины, бузины, бирючины, шпалерника. Зеленые цвета садов разнообразны: смарагдовая зелень, малахитовая, изумрудная, бирюзовая, серебристо-серая, желтая, голубая зелень ольхи, зелень матовая и лакированная; июнь наполнен зеленой пестротой, трепещущей, разбросанной по саду оваликами листьев, прозрачным кружевом, точками, пятнами, полосками, рябью; июнь наполнен щебетом птиц, голосами малиновок, московок, гренадерок, пищух, лазоревок, чумичек, щеглов, доверчивых чижей и воробьев, ласточек, горихвосток, осторожного дубоноса, нелюдимой иволги, туком дятла; птичий щебет, чуть похожий на китайскую речь, отрывист, сладок и звенящ. Длиннохвостая трясогузка бегает деловито по изгородям, по балконам, крышам, дорожкам. Трясогузок, домашних воробьев, голубей и ворон пеночка немного презирает за их пристрастие к прогулкам по земле: пеночка — птица воздушная — никогда не приземливается, и на земле ее можно встретить только бездыханной, тонкими ножками к небу. Сидя на ветке, пеночка наблюдает за миром, за жизнью; наблюдает человека, кажущегося ей не очень добрым, но весьма любопытным для наблюдений, следит за птицами, за бабочками: как летает махаон, и как — зорька, как складывает крылышки желтушка, как ныряет крапивница, как играют в пятнашки глазуньи, как плавают реше-

точницы, и перламутровка, и ситечко, и переливница, и адмирал, и нимфа, и павлиний глаз, и парусник и пышный царский плащ; пеночка наперечет знает всех бабочек, как знает жуков, червяков и модниц-гусениц, унизанных драгоценными кольцами, окутанных мехами, бобром, чернобурой лисицей. Днем охотится, ловко опрокидываясь в воздухе, скользя на крыло, делая мертвые петли, подвешиваясь к веткам вниз спинкой, подобно синицам, или порхая над кончиком листка, прицеливаясь иголочкой клюва к добыче. Сад полон игры, опасностей и лакомств. Зелень сверкает под солнцем, чернеет под налетевшей грозой, июньский день изменчив. Бронзовые, фиолетовые, ползают жужелицы, сидят на стеблях маленькие кобылки, скачут в траве зеленые и бурые стрекозы, снуют муравьи (сознательные граждане, люди с портфелями), разряженные травяные клопы дремлют на цветах, пробегает ящерица, боясь прямой дороги и как бы отыскивая самый дальний путь к намеченной цели, трудолюбив иссиня-черный навозный жук; хохлатая курица-пеструшка тюкнула носом неосмотрительную жужелицу и отбросила ее с отвращением; хлопочут ржаво-бурые хрущи, полосатый жук-могильщик, коричневый носорог, серые слоники, похожие на тапиров, веселые щелкунчики и длинноносики; зеленая листва отражает синеву неба, скользит лиловая тень облаков, сад поет и звенит, расточительно и обильно, жужжат шмели и осы, окрашенные наподобие георгиевской ленты, чеховский докторец в соломенной шляпе дремлет на балконе; по земле, по стеблям, по дереву балюстрадки, по рукаву и шляпе докторца — ползают, шевелят усиками, любят, опрокидываются на спинки, борются, живут металлически-голубые, медно-красные, оранжевые, в крапину, в прожилках, в разводах, серебряно-синие, золотисто-рубиновые, лимонные жучки, козявки, божьи коровки, мушки, сизая блестка, царская блестка, сучковатый богомол в юбочке, а за кухней древняя старушка, скомканная из оберточной бумаги, держит младенца над травой и приговаривает, шамкая:

— Что поделаешь: век живи, век мочись.

Когда же созреет земляника, крыжовник, вишня — начинается у пеночки торжество. Пеночка любит землянику и, как земляника, пеночка бывает: садовая и лесная. Но если уж перебирать ее имена, то нужно вспомнить о пеночке-таловке, о желтогривке, волчке, дерябке, трещотке, берцовке, лесном кузнечике, тюкалке, теньковке, пеночке ивовой, зарничке, бормотушке, пеночке бледной и, наконец, пеночке печальной, которая краше других, но и реже, ибо пеночки принадлежат к семейству воробьиных, а воробьи, как известно, беспечны и нрава веселого...

Двенадцать верст обратного пути до станции; июньский день, как молодость, рассеян и забывчив, — солнце, дождь, ветер, солнце, ветер, гроза; струны косого дождя пересекаются золотом лучей; ветер пробегает рябью по лужам, а солнце высушивает их без следа. На верхней полке в вагоне почтового поезда, Сережа Милютин стал забывать о «Колотушах» и вскоре забыл совершенно, если не считать того малозначащего обстоятельства, что в течение многих лет он не мог съесть ни одного рыбного блюда.

10.

В предобеденные часы Куприн играл в городки с Максимом Горьким, Леонидом Андреевым и Иваном Поддубным на дачной теннисной площадке, убрав сетку, полусгнившую от дождей. Сбитые рюхи перевертывались в воздухе, как цирковые гимнасты, и падали далеко за площадкой. В стороне, в зеленой беседке, улыбался сквозь очки стареющий Репин. Правовед Карелицын, привыкший к улыбкам батистовых Венер, с чувством вражды и грустного недоумения смотрел сквозь забор на то, как теннисная площадка взрывалась дубинками, рюхами, сапогами. В беседке стоял кувшин ледяного кваса... Репин говорил торжественным голосом о явлениях патетических и значительных, о революции, о Гладстоне, о государственной думе, о гугенотах, о Льве Толстом, о христианстве, о величии Александра Ма-

кедонского, о суфражистках, о Гапоне, о дрессировщике Дурове, о живописи, о погоде, о парижских бульварах, сделанных по эскизам импрессионистов, парижских людях и комнатах, наряженных и убранных по картинам Больдини и Вюйара. Чернели цилиндры, сохранившиеся теперь лишь для балетных премьер и в дипломатическом корпусе: их надевали по воскресеньям консьержи, отправляясь на прогулку, и доктор по желудочным болезням, живший на третьем этаже справа, и краснощекий бакалейщик, и парикмахер, и представитель бюро похоронных процессий, и судебный пристав, и сорок бессмертных, и палач, и министры, и президент республики и почти вся воскресная парижская толпа. Восьмидесятилетняя Гортензия Шнейдер еще принимала в особняке на набережной Сены престарелых и высокопоставленных своих поклонников, вспоминая оффенбаховские триумфы Второй империи; на парламентскую трибуну всходил Жорес, — в мешковатом, потертом сюртуке, в круглых манжетах с чернильными пятнами, — огромный, широкий и неряшливый, как большинство тех бульваров, которые во французских городах унаследовали его имя, — и в лавочке на Монмартре уже присматривал Анри Руссо романтически закругленную палитру, и поэт Ведерников, приехавший из советской России, прогуливается в черной толстовке и добротном коверкотовом пальто, купленном в английском магазине на бульваре Мальзерб, — гуляет, повторяя:

— Городок, Барбюс пур ле рюсс!

11.

Проходят сроки, достаточные, чтобы обжиться: в городе, в отеле, в стране, в окопах, под мостом, в столовой на диване.

Сережа Милютин спешит к Горфункелю, которого уже не заставал три раза. Государства, города и диваны... Горфункель откидывается в кресле за письменным столом гру-

шевого дерева, кабинет заполнен сафьяновой мебелью и устлан коврами. Горфункель согласен, что карточка банкира Гордона — большая рекомендация для молодого человека, желающего заработать, но и сам Горфункель видит людей насквозь.

— Вы теперь — маленький Малютин, я бы сказал — Малюткин, Малюськин, но вы хотите стать Большутиным. Во-первых, не имейте дела с честными людьми. Гоните их во что глаза глядят, пока они вас не надули! Имейте дело только с жуликами, потому что они вас тоже надуют. Хотите разницу? — имейте: жулик вас надует, но он сделает афер, и вы все-таки получите что-нибудь такое. Честный человек вас надует, но он и себя надует, он ничего не сделает, и вы получите вовсе кукиш! Так говорит Горфункель!

Вскочив из-за стола, Горфункель кружится по комнате, по мягким имитациям текинских узоров, размахивает маленькими ручками так, что они одновременно видны на столе и под столом, справа и слева от Милютина, под самым его носом и в дальнем углу кабинета. Сережа Милютин следит за его руками, как следят за полетом мухи, которую не удается поймать. Остановившись, Горфункель в упор спрашивает Милютина, вытаращив глаза:

— Вы можете закупать клеенку? На клеенке вы сделаете миллионки!

Снова прыгают руки, и снова желтые ботинки в парусиновых гетрах мелькают по текинским узорам.

— А бьенто!

Сережа Милютин спускается по ковровой лестнице и слышит над собой голос Горфункеля:

— Молодой человек! вы можете написать книгу про польском искусстве?

Милютин сбегает вниз. Перегнувшись через перила, Горфункель кричит, размахивая руками:

— Блефуйте! Блефуйте!!

————

12.

Диваны бывают разные:

1) Оттоманка, т. е. репсовый диван с двумя валиками по бокам и тремя довольно твердыми подушками вместо спинки. Оттоманки встречались у людей, любящих больше лежать, чем сидеть, так как на оттоманке сидеть невозможно, в крайнем случае можно полулежать. К сидению, или — вернее — ложу оттоманки приделана шнуровая ручка, за которую ложе подымается, как крышка, обнаруживая внутри всевозможные вещи, вроде сплющенной женской шляпки прошлого десятилетия, географического атласа Петри, тронутых молью фланелевых панталон, вытертой беличьей горжетки, двух-трех не нашедших другого места иконок с плюшевыми оборотами, пучков рождественской канители с застрявшими желтыми иглами прошлогодней елки, но более всего — исписанных бумаг, среди которых не последнее место отведено гимназическим тетрадям хозяина, с красными пометками учителей на сочинениях о лишних людях в русской литературе и на латинских extemporale. На ночь снимался один из валиков, а спинные подушки складывались на пол. Другой валик, в изголовье, обертывался простыней, и на него опиралась подушка ночующего. К тому же разряду должны быть отнесены кушетки, само название которых обеспечивало удобство спящего; репсовые, плюшевые и даже атласные диваны с небольшой спинкой, прилаженной к их короткой стороне. Кушетка принадлежит к самой древней форме дивана, восходящей ко временам упадка Рима; потом, спустя века, кушетка особенно прославляется госпожой Рекамье и ее живописцем Давидом и, наконец, так называемыми светскими львицами Второй империи, украсившими кушетку рюшами, кистями, капитонажем, бахромой, розетками, шишечками и бантами. Кушетки, однако, отличались недостаточной длиной, так как были рассчитаны на женский рост, и редко ставились в столовой: их настоящее место было в гостиной подле рояля, а также в будуаре, если таковой в

квартире имелся. Оттоманщики, как и кушеточники, считались среди ночующих в столовой на диване баловнями судьбы. Иногда они даже полнели: так удобно было спать на широких матрасах оттоманки, не стесненных ручками и спинками; к тому же, хозяева оттоманок, по своей склонности к лежанью, вставали по утрам позже, нежели владельцы иного рода диванов и, следовательно, не слишком торопились будить постояльцев.

2) Диваны клеенчатые, скользкие и холодные, как рыбы. Простыню приходится глубоко затыкать между сиденьем и спинкой, где залеживалась легкая, пыльная труха, проникшая из-под обивки; подушка скользила, одеяло скользило, — вообще, диван имел заметный крен в сторону от спинки и приходилось заставляться с открытой стороны тяжеловесными креслами, чтобы не очутиться на ковре.

3) Диваны плюшевые. Их сиденья отличались необыкновенной покатостью в обе стороны, человек спал на нем как бы на вершине горного хребта, и надо было развить в себе особый инстинкт, чтобы во сне удержать равновесие: так в ночной темноте ездят велосипедисты. Простыня на плюшевых диванах пришпиливалась к ним английскими булавками.

4) Диваны ореховые, фигурные, чаще всего трехспинные. Спанье на них весьма тягостно отражалось на нервном и душевном состоянии и вырабатывало образ человека, действительно достойного сожаления. Дело в том, что фигурные диваны отличались необыкновенно изогнутой, чаще всего наподобие боба, формой, так что спать на нем можно было лишь на одном боку, придавая телу тот же изгиб боба. Кроме того, подушка по несколько раз за ночь проваливалась в отверстие между сиденьем и резной ручкой, и голова спящего повисала в пространстве, в то время как с противоположной стороны в такое же отверстие попадали ноги, высунувшись из-под одеяла и холодея, — вот почему обитатели фигурных диванов ложились спать всегда в носках. Фигурные диваны не предназначались для лежания и бывали короче других, в том числе и кушеток. Простыни, как и в предыдущем случае, закреплялись булавками.

5) Деревянные диваны желтого ясеня, с ящиком для верхних вещей, пересыпанных нафталином. Такие диваны стояли в прихожих, и потому гостей на них не укладывали спать никогда.

13.

Диванные жители должны были бы утром раздувать самовар или готовить кофе, разумеется, прибрав сначала за собой диван. Но обычно они этого не делали, а чаще всего, встав пораньше и сложив постельное белье в углу дивана, бесшумно читали газету, поджидая, пока хозяева сами наладят утреннюю жизнь. От диванного жителя избегали принимать домашние услуги, но если он случайно заспится, и утром хозяйка застанет его под одеялом — в ней тотчас проснется лютая ненависть, и тогда достаточно сущего пустяка, чтобы жильцу отказали от дома, в выражениях более резких, чем того требовали обстоятельства. В отсутствие хозяев диванные жители снова располагались на своем диване, достав из укромного места гитару или балалайку, бренча на них и напевая вполголоса, потому что люди, ночевавшие в столовой на диване, бывали почти непременно поэтами. Они даже сочиняли стишки и песенки, а также памфлеты и шуточные некрологи на смерть друзей и знакомых, еще не собравшихся умереть. Люди спали в столовой на диване всегда в одиночку, а если случалась любовь к горничной, то диванный житель босиком (или в носках) направлялся в людскую. В равной мере, он никогда не умирал на своем диване, так как перед смертью его заблаговременно перевозили в больницу, за исключением случаев, когда смерть наступала внезапно. Диванный житель тщательно скрывал свой недуг, боясь впасть в немилость. Начиналось ночным кашлем: кашель душил по ночам и, особенно, на рассвете; кашлять было трудно, так как приходилось накрывать голову одеялом, чтобы не разбудить хозяев, и сколько бы человек ни кашлял, все чего-то

не мог выкашлянуть. К утру заснул бы от утомления, но уже пора было вставать. Днем нападала непоборимая тоска и беспричинный страх. Человек не находил себе места, тщился отвлечься, играть на гитаре, но руки слабели, появлялась испарина и тянущая, нарастающая боль в сердце, в плече, в пальцах, какой-то мускул внутри пристегивался на пуговку и каждое движение, каждый вздох натягивал этот мускул, а пуговка не пускала. Так длилось часами. Человек хотел и не мог вздохнуть полной грудью, пытался искусственно вызвать зевоту, чтобы перевести дыхание, но ничто не помогало. И, вдруг, невидимая пуговка отстегивалась и тогда сразу приходило облегчение: человек отирал со лба испарину, свободно и со вкусом глотал воздух, пахнущий увядшими фиалками, веселел и вечером мог вслух читать стишки. А ночью кашель возобновлялся. С течением времени дышать становилось все труднее, и пуговка отстегивалась все реже. Близился день, когда, не в силах сдержаться от приступа кашля и встать с дивана, несмотря на появление квартирных хозяев, постоялец продолжал кашлять, с безмолвным ужасом глядя перед собой и перебирая пальцами простыню. Хозяева окружали его, клали примочки и припарки, прислуга тревожно заглядывала в дверь и, как всегда у постели умирающего, всех объединяло смутное чувство соучастия в преступлении. Лежащий кашлял все туже, наливаясь чернилами, дышал со свистом, с бульканьем и все сильней запрокидывал голову, выгибая кадык, как шпагоглотатель.

—Успокойтесь, — убеждали его, — попробуйте заснуть, это у вас чисто нервное.

Иные сердито прикрикивали, полагая, что окрик заключает в себе целебные свойства:

— Успокойтесь же, говорят вам! Не смейте так дышать, а то я вызову доктора!

Когда же больной, окончательно почернев, действительно успокаивался и затихал, — смущенно произносили:

Умер (или: помер; преставился; отошел; намучился; намаялся; кончился; скончался; испустил дух; Богу душу отдал; Бог прибрал; приказал долго жить; приказал кла-

няться; сошел с кона; одним меньше стало; «спрятался месяц за тучку», с намеком на увлечение балалайкой; сыграл в ящик; скапустился; крышка; finita la comedia; был, да весь вышел; сдох, слава Тебе, Господи; околел и т. д.), — после чего приступали к нудной и поистине неприятной работе — омывание, прибирание, одевание, положение, перенесение покойника и дезинфекция столовой комнаты и дивана.

14.

С того памятного, давно прошедшего вечера, когда в ночном такси Зина Каплун, манекен из дома Сюзи Верже, — сначала сопротивляясь, потом слегка запрокинув голову и полуоткрыв рот — впервые поцеловала инженера Ксавье, а его рука впервые легла под платьем на теплое лоно крепко стиснутых ног, и колени, уступая настойчивости пальцев, пропустили ладонь, но, спохватившись, сомкнулись снова; когда Зина Каплун, уже раздумав бороться, заботилась лишь о том, как бы не сделать какой-нибудь оплошности, могущей разочаровать Ксавье, и ее рот, заполненный поцелуем, издавал невнятные звуки — среднее между протяжным ннннн или ммммм, что можно было принять и за протест и за обиду и за выражение страсти; когда Ксавье, испытывая вкус и умение Зининых губ, решал второпях, какой поцелуй скорее обессилит упорство женщины и когда, наконец, можно будет крикнуть свой адрес шоферу, бесцельно кружащему машину по аллеям Булонского леса, а поцелуй длился, все более похожий на анатомическое исследование, и светлое пальто Ксавье, перетянутое кушаком, на мгновенье показалось Зине Каплун белым халатом хирурга, — поцелуй длился, и Зина радовалась крутым поворотам автомобиля, когда она все мягче падала на Ксавье; она оттаивала, она чувствовала свою влажность и наступление той минуты, за которой всякий стыд перестанет ее пугать, как и любая ее неловкость уже не смутит Ксавье;

Зина готова была заплакать оттого, что они еще в такси, что в окне еще мелькают дома, что вдоль набережной еще бегут огни фонарей, и под ними в черной воде извиваются золотые червячки. После такси так восхитительна теснота лифта, так невозможно задержаться в передней комнате, оглядеться по сторонам и заняться приготовлением кофе на газовой плитке: все ничтожно, ненужно и раздражающе — рядом с тем, что должно произойти...

Именно с этого памятного вечера диван в квартире инженера Ксавье, издалека уже манивший Сережу Милютина, перестал для него существовать. С другой стороны, кто не знает, что ночные кафе на Монпарнасе, на Монмартре или в Латинском квартале закрываются только в пятом часу утра, чтобы снова открыться в шесть; и что этот час перерыва особенно располагает к отдыху на скамейке бульвара и даже к прогулкам, потому что утренний Париж прекрасен, как прекрасны, впрочем, все утра вообще, до утра жизни включительно? Таким образом, сказанное выше о диванах не имеет прямого отношение к Сереже Милютину, сидящему за столиком в кафе на Монпарнасе и поджидающему инженера Ксавье. Желтеют, краснеют, зеленеют прозрачные напитки в стаканах, и чашка кофе с молоком подле них кажется мутной лужицей рядом с многоцветной связкой воздушных шаров. Ксавье не торопится. Сережа Милютин следит за входной дверью. Стеклянная дверь на бульвар и зеркало устроены так, что если кто-нибудь идет по улице слева, то он же идет себе навстречу справа; в определенной точке двойники неминуемо сталкиваются лбами и исчезают. Если человек идет не спеша — зрелище представляется забавным, и можно подолгу с интересом наблюдать за такими пешеходами; но если человек бежит, то бывает страшно, и зритель невольно зажмуривает глаза. Бескровные, бесшумные автомобильные катастрофы происходят здесь постоянно, и так как Сережа Милютин, скучая от ожидания, дремлет, иногда погружаясь в сны, возникающие под опущенными веками безмолвные фразы, произносимые голубой пустотой, слова, полные значения, но тающие навсегда при первом шуме, и уже не слова, а что-то

вроде табачного дыма, и не дым папиросы, и не визитная карточка банкира Гордона, а гладкий затылок соседа, бумажные треуголки теннисных состязаний, пыльный туберкулез платанов, и снова бутылки на фоне бесшумных столкновений людей и автомобилей, связка воздушных шаров, и еще такое милое, удивительно нежное, нужное и хрупкое, что можно встать и пойти, не сказав, не допив, не услышав, неясное и пряное, как капли дождя на кустах сирени, как запах свежераспиленных досок... За спиной судачат о казни араба, Пушкин написал повесть «Арап Петра Великого», начинающуюся строками о Париже, Ксавье не идет, но вместо него приближается художник Райкин и просит до завтра три франка. Сережа Милютин отвечает:

— Арапские штучки!

15.

Допивая чашку кофе, сваренного инженером Ксавье, Зина Каплун решала вопрос: нужно ли ей доодеться и ехать домой или, напротив, дораздеться, чтобы ночевать у Ксавье? Отставив чашку, Зина решила немедленно ехать; но тотчас разделась и юркнула под одеяло. Сквозь первую дрему Зина слушала, как в ванной комнате Ксавье чистил зубы. Зина спит, забыв о Ксавье, повернувшись к нему спиной. Темная вереница снов, туманные башни видений стелятся, вьются, Зина откроет глаза и, не проснувшись, услышит слабый храп Ксавье, подземный гул грузовиков, везущих капусту, розы, мясные туши к Центральному рынку, увидит красное ночное небо в квадратах окна. Ночной Париж очищен от тех, кто мирно спит до утра, днем засоряя улицы. Томятся в дансингах, в барах, в домах свиданий влюбленные в женщин, в город, в ночь, в порок, в преступление, в жизнь. Нищие старики изнемогают от бессонницы на уличных скамейках, на папертях, на лестницах метро. Ночью в Париже лишь самый страшный труд и самое страшное над ним издевательство, растворяющая середина стирается на

ночь, обнаженность крайних точек угрожает смертельной опасностью. Зина Каплун спит, стесненная чередой утомительных снов и иногда переплетаясь ногами с Ксавье.

Утром побегут ручьи вдоль тротуаров, промывая мостовую и унося с собой огрызки, объедки, следы затоптанного вчерашнего дня. По случаю воскресенья, невозвращенец Аким Филиппович Колмазнин, бывший спец из Нефтесиндиката, решается наконец последовать примеру других и отправиться к обедне в русскую церковь, потрепаться за церковной оградой. Инженер Ксавье, проводив Зину Каплун до такси, скроется за углом, махнув перчаткой, Зина Каплун, вернувшись домой, заглянет к консьержке — нет ли письма из Варшавы? — консьержка, мадам Шасепуль, непременно поделится новостями.

— Подумайте, — скажет она, — мадам Тити, убитая арабом, оставила после себя на триста тысяч драгоценностей! Кюре из нашей церкви заявил, что ремесло мадам Тити — безнравственное ремесло. Скажите на милость! Кюре зарабатывает хлеб своим ремеслом, я — своим, мадам Тити — своим. Она никого не ограбила и не убила, коммерция есть коммерция. Но вы подумайте, нет, вы только подумайте! — этот грязный отброс еще пробовал защищаться!

Поднявшись в свою комнату, Зина Каплун, несмотря на близость полдня, снова засыпает, потому что спать вдвоем в одной постели неудобно и утомительно: то занемеет рука, то плечо, то шея, и к утру устает голова от вереницы снов, расплывчатых, изменчивых и неверных, как отражение в изогнутых зеркалах.

16.

Если бы Шарль Самсон, приятель художника Райкина, не был окулистом, то, разумеется, разговор не вернулся бы к обстоятельствам казни Саида Бен Аршана. Но Шарль Самсон был ученым окулистом, а окулистов, как известно, хлебом не корми — неси им глаза казненных. Зрительные ор-

ганы казненных, как, впрочем, и большинства самоубийц и жертв несчастных случаев, не искажены болезнью, они как бы вынуты из глазных орбит полного сил, живого человека и положены на стол для непосредственных научных наблюдений. Но тогда как жертвы несчастных случаев и самоубийств бывают не всегда своевременно обнаружены и подолгу остаются в распоряжении следственных властей в неприкосновенном, то есть теряющем свежесть виде, — окулист, которому обещаны глаза казнимого, уже стоит с раскрытым ящиком у гильотины (шофер в автомобиле поджидает за углом) и, схватив голову, мчится в лабораторию...

В кафе на Монпарнасе многоязычен разговор, зеленеют, краснеют, желтеют напитки в стаканах, гарсоны выкликают заказы, изощряясь в ловкости движений, подбрасывая и ловя подносы, бутылки, блюдца. Бедные платаны, пыльная гвардия бульваров, чахнут парижским летом, им несносны асфальтовые удушья города, корни упираются в камень фундаментов, в трубы метрополитена, земля истощена под тяжестью мостовых и, полумертвая, содрогается от грохота грузовиков, автобусов, трамваев. Только вечерами нисходит облегчение и прохлада ложится на обожженные ветви, как мокрое полотенце на грудь упавшего без сил теннисиста.

Молодой ученый Шарль Самсон печалился, что глаза Саида Бен Аршана попали в другие руки в то время, когда Шарль Самсон повсюду искал хотя бы одно здоровое глазное яблоко для препарирования сетчатки. Инженер Ксавье осведомился, нет ли у Самсона Далилы и ходит ли Самсон к парикмахеру? Ксавье добавил также, что для науки безымянный араб оказался ценнее, чем воспетый в легендах одноглазый Циклоп, что должно послужить к утешению араба, но, по меньшей мере, обидно для мифологии, и что вообще от преступления до экрана, как от великого до смешного, — один шаг, после чего все дружной компанией отправились смотреть нашумевший фильм из жизни чикагских гангстеров: Ксавье — за счет своих родителей, виноделов с Луары, Зина Каплун и Сережа Милютин — за счет Ксавье, танцовщица Люка — за счет Сережи Милютина, художник Райкин (хотя он был небрит и предпочитал пойти

в ресторан «Альбатрос») — за счет танцовщицы Люки, которая еще не научилась отказывать и, наконец, встреченная по дороге рыжеволосая подруга Зины Каплун, Татьяна Львовна Неусыхина-Аронова, мадемуазель Тат, пошла за счет анонимного общества Патэ-Натан, так как контролер входе в кинематограф был ей знаком и всегда усаживал мадемуазель Тат бесплатно за ее необычайное сходство с Марлэн Дитрикс, особенно в движении бедер.

* * *

1.

Сейчас мы никого не любим. Для любви у нас нет ни времени, ни опыта. Мы не успели, нам было некогда упражнять себя в этом чувстве. Оно нам кажется нежизненным и неудобным, как кринолины, как езда на перекладных, как религия. Чувство любви, ее вкус, ее формы нам незнакомы, и мы не испытываем ни огорчения, ни стыда оттого, что лишены его, — как негры не стыдятся ходить с обнаженными торсами до тех пор, пока не узнают о существовании одежды.

Судя по книгам и по рассказам, следует любить человека, или еще больше: человечество. А мы не научились даже любить самих себя. Мы подозрительны: страницы, говорящие о высоких чувствах, слишком часто кажутся нам искусственными и лживыми, раздражают нас, мы проверяем ими качество прочитанной книги. Любовь у нас заменена злобой, которую мы изучили прилежно и постоянно совершенствуем. Чувство злобы способствует нашему общению, создает единство переживаний, объединяет отдельных людей в человечество, отдельные часы — в эпоху. Чувство злобы (как, говорят, некогда — любовь) спасает нас от одиночества, дает нам силу, диктует новое право, новую нравственность, толкает на подвиги, согревает нас, и потому к этому чувству мы питаем привязанность и благодарность. Магеллан совершил путешествие вокруг света, движимый любовью к просторам, к искательству, стремлением к благу и пользе человечества. Наш Магеллан улетит в неизвестность, побуждаемый потребностью порвать с тем, что его окружает.

Мы обманываем далеких и близких, обманываем жен и мужей, мы растлеваем девушек, мы грабим имущество, обкрадываем в искусстве и в помыслах, делая все это без пафоса, без необходимости, без минуты раскаяния, с равнодушием и настойчивостью, потому что знаем, что те, кто нами обманут — обманывают нас, и те, что нами растлены — гордятся этим.

Однако, скудный запас необработанной нежности в нас существует, но капли ее падают на явления и предметы, может быть, не заслуживающие внимания, подобно тому, как в концерте, слушая певца, наряженного во фрак, мы стараемся проникнуть в глубину исполняемой вещи и самого исполнения, но остаемся холодны и даже ненавидим этого человека или — откровеннее — насмешку над человеком, а между тем, иногда достаточно, чтобы скрипнула дверь или простучали за окном копыта, — и весь наш состав наполнится музыкой. Мы никогда не любили, мы не знаем, что такое любовь, но, улавливая приближение нежности — к вечернему дождю, к изгибу стула, к глазам собаки — мы склонны думать, что когда-нибудь нам придется любить. С этой мыслью, ненужной и, может быть, неосуществимой, мы бережем нашу нежность, не зная, как с ней обращаться и чему она будет служить, бережем, сознавая ее хрупкость и любопытствуя, судьба ли ей погибнуть, или вырасти в большое чувство. Так неотесанный каменотес, еще не любя, бережно, неловко и боязливо пеленает окаменелыми руками своего первенца.

2.

Мир начинает окрашиваться в голубой цвет: люди, земля, предметы. Окрашивание, или — вернее — пробуждение цвета возникает незаметно и неожиданно, как болезнь, как вдохновение; оно пугливо подкрадывается, и лишь в ту минуту, когда силы уже измерены, происходит первая вспышка. Мало-помалу, развитие цвета достигает той степени, за которой восторг почти граничит с головокружением.

Но легкая голубизна, впервые здесь отмеченная, еще слишком зыбкая, прозрачная и неотстоявшаяся, может быть, является только отсветом летнего неба, только совпадением, а не признаком надвигающегося порыва. Благодатная ласковость ветра, негромкий шум мотора, серые колокольни церквей, сиреневые крокусы альпийских лугов, далекий свист

лесопилки, яблони по краям дороги, голубые километры асфальта, запах травы, цветов и бензина. Дорогу заносит в гору, на голубых поворотах вздрагивают крылья, внизу, за ветром, в дымке, ржавеют черепицы селений; долины, холмы устланы зеленью; тихие деревушки, прикрывшие истинный возраст шалостями реклам, раскрываются на минуту, пропуская машину, чтобы сомкнуться за ней и, отразившись в зеркальце над рулем, исчезнуть навсегда. Лиловая сахарность далей, возбуждение скоростью, картонная торжественность ветшающих замков — раскрашенные картинки из сказок Перро, пожелтевшие страницы сытинских, сойкинских изданий, когда-то разбросанных по ковру в натопленной зимней комнате, где цвели фиолетовые замки принцесс и королей, Золушка улыбалась в золоченой карете, запряженной цугом, розовая краска на лицах ливрейных лакеев немного съезжала на небо, а синее небо — на плюмажи кареты, и Кот в Сапогах, и Ершовский Конек-Горбунок, — заколдованный замок Спящей Красавицы, встревоженный окриком клаксона; дрожит крыло на повороте, летние распушаются облака; обреченная, нескошенная десятина, белая рябь маргариток, красные насосы гаражей, сверкающие по дорогам жуки с марками Ситроена или Бюика, — и бывает удивительно в захудалом музее провинциального городка, между портретом Сади Карно, положившего руку на свод законов (в котором, среди других, заключена статья о лишении жизни) и серебряной свадьбой в деревне — неожиданно встретить нежнейший пейзаж Сислея, а на прилавке букиниста купить за полфранка вторую часть (первая безнадежно затеряна) «Господ Головлевых» в итальянском переводе, начинающемся так:

Giuduccio ad ogni modo non diè i denari al figlio, benchè da padre amoroso gli facesse mettere in carozza carne, biscotti, caviale e altre provisioni da bocca. Ah, Pietruccio, Pietruccio...

Металлически-голубые, медно-красные, оранжевые, иссиня-черные, рубиновые, лимонные, скользят жуки по асфальту, ложатся платаны по краям дороги, вдали над Парижем чернеет копоть столиц. Машины, обгоняя друг друга, стремятся к Парижу, пронзают предместья, ульчонки,

застроенные гаражами; в шуме мотора и ветра несутся заборы; дырявые домишки окраин, сколоченные из случайных досок; вагоны, приспособленные под жилье; оборванные дети, арабы, собаки; черная копоть неба; фабричные стены; железный лом; порожние бутылки; автомобильные кладбища; радиосплетни; заплаты реклам... Пустые автобусы отдыхают у конечных станций. Замедлим скорость, прочтем первые вывески, услышим гул метро, брюзжанье вымирающих трамваев, узнаем улицы, кафе, огни, витрины, походку женщин, голоса газетчиков — голоса катастроф и землетрясений, — Париж...

Ничего, ровно ничего не случилось. Никаких событий нет. Если происходит революция, то в России. Если золотых дел мастер, мясник, нотариус режут своих любовниц на куски или топят их в ванне, то только в вечерних газетах. Летчики перелетают океан, сменяются правительства простым голосованием, впрочем, тоже лишь для вечерних газет и фотографов. Приняв портфель, министры спешат в Бурбонский дворец, чтобы вернуться под утро домой, может быть, без портфеля. Мурадьян дал в морду поэту Пумпянскому, Пумпянский колебался — ответить ли тем же, заплакать ли, составить протокол или вызвать Мурадьяна на дуэль. Но Пумпянский крикнул Мурадьяну «сволочь» и сел за столик. Сережа Милютин держал Мурадьяна за руки, хотя тот уже вполне успокоился; инженер Ксавье платил за кофе и разбитую посуду; художник Райкин тасовал колоду карт для новой сдачи. Игра продолжалась, выкуривались сотни папирос и, когда гарсоны уже ставили стулья на столы, игроки голубой гурьбой переходили в соседнее кафе, которое в этот предутренний час едва успевало раскрыть двери. Игра продолжалась — в белот и в покер, — и инженер Ксавье платил за пиво, тянулись ночи, дни, вечера, наступил ноябрь, пошли дожди; было тепло и удобно сидеть на плюшевых диванах за стаканом пива, ненавидеть друг друга, подозревать и завидовать, бросая карты на суконную подстилку. Менее удобно следить за чужой игрой из-за спинки дивана, не смея присесть, — но в кафе тепло и сухо даже в ноябре, и потому зрители, не имевшие франка на кофе,

томились дни, вечера, ночи, прислонившись к центральному отоплению и стараясь не заснуть и не упасть от голода, тоски и безделья. Шли дожди, Мурадьян дал в морду инженеру Ксавье и выбыл из компании. Декабрь удивительно похож на ноябрь, холодный ветер на улицах дирижирует складками платьев, идут дожди, что очень неприятно, но климатически неизбежно. Инженер Ксавье купил новый автомобиль, по воскресеньям ездил в Шартр с Зиной Каплун, где они вкусно обедали, ходили в кинематограф и плохо спали в гостинице. Горфункель вечерами диктовал наставление домашней прислуге. По пятницам у мадам Шацкой составлялись все те же партии в бридж: мадам Федюкина, Семен Иванович Лапчинский-Негорело, Фанни Браиловская, профессор Скороходов, мадам Хаимзон, мадам Фишзон, Савелий Абрамович Зон, Ленуся Фиш, супруги Шаховские, супруги Новосельцевы, Моника Геппенер — противница высоких каблуков и живописи Бориса Григорьева, Аспазия Спиридоновна Феофилактис и мадам Шкаф. В монпарнасских кафе метались гарсоны, табачный дым ложился голубым туманом на мрамор столиков, на красный сафьян сидений, на лица, раненые скукой ежедневных встреч. Шли дожди. Художник Райкин получил — наконец-то! — заказ на портрет кинематографической артистки Эдвиж Марэна и даже присутствовал у нее на рауте, взяв пиджачный костюм у Ксавье, но съел излишнее количество тартинок с зернистой икрой и, почувствовав себя плохо, поспешил незаметно уйти. Художник Райкин — только случайность, только орнамент, стилистический завиток: икра попадала в его рот мимоходом, по соседству и, может быть, именно потому, что икра предназначалась для иных желудков, художник Райкин не сумел ее как следует переварить.

—————

3.

— Я постоянно думаю о России, живу Россией, зачитываюсь книгами о России, русской литературой, русской историей. Хотя бы горсточку русской земли! Но, разумеется, России допетровской, остальное для меня не существует. Я имею мысль, что Петр Великий переделал все, что имело внешность: костюмы, картины, поэзию. Только музыка, слава Богу, не имела внешности, музыка — наша душа, и Петр Великий с ней оказался бессилен.

Так говорила мадам Шацкая, и все в один голос признали, что это — золотые слова. Мадам Шацкая разливала чай, предлагая гостям птифуры и кекс своего изготовления; скатерть на столе была собственноручно вышита по рисунку Стелецкого, и гости утверждали, что у мадам Шацкой — золотые руки. На стенах висели акварели Билибина и Судейкина, в простенке между окон — гелиогравюра васнецовской «Старой Москвы».

— Я решаюсь высказать то, о чем другие не смеют даже думать, но думают так все. Русская музыка держит национальные корни, отсюда — Рахманинов и вся могучая кучка... Ах, между прочим, Лейтон и Джонсон пели вчера, положительно, как взрослые дети. Я заночевала бы в саль Плейель, если бы они согласились петь у моего изголовья. Это было очарование. Господа, я не мечтаю, qu'об одной вещи: дадим сегодня клятву, что в следующий раз мы все вместе пойдем на их концерт.

Гости клялись. Мадам Федюкина сказала:

— Я слышала их только на пластинке. Не кекс, а мечта!

— Мне передавали, что один из них невероятно волосатый: кто-то видел его голым.

— Да! Это вам — не Гитлер!

— Вы острите, потому что вы их не слыхали. Их пение похоже на плач Ярославны.

— А я думал, что они поют фокстроты.

— Ну да — фокстроты! В исполнении негров даже фокстроты напоминают религиозное пение.

— Псалмы.

— Счастливые негры! Не то, что Гитлер: он заедает даже католиков.

— Когда народ лишают религии, он костенеет в пороке. Мне говорил один приезжий из России, что церковь там ушла в подполье. Я ее вполне понимаю. Он рассказывал, что в деревнях крестьяне на ночь переворачивают портрет Сталина, а с обратной стороны — икона. Как это правдиво и величественно...

Голубые сумерки струились по окнам. В соседней комнате лакей расставлял столы для карт..

— Господа, — произнесла мадам Шацкая, — я приготовила вам сюрприз. Догадайтесь!

Никто не догадался. Мадам Шацкая продолжала:

— Я хочу, чтобы сегодняшний бридж явился для нас не только удовольствием, но и подвигом. Мы все так любим искусство, даже наша вечная оригиналка, Моника Христиановна. Так вот: художник X, наш молодой талант, положительно голодает, что при его туберкулезе очень плохо пахнет. Бедняжка мечтал зажечь моря! Я предлагаю сегодняшний выигрыш передать в его пользу...

Декабрьские сумерки дождливы, они потоками стекают по окнам. Снизу доносится вечерняя грызня автомобилей. День закончен, надвигается темнота, пора начинать еще одну ненужную, бродяжную, неизбежную монпарнасскую ночь, бессонную, пустую, страшную, как санитарный поезд, и грустную, как цыганский романс. Надо снова идти, среди несветлых фонарей и царапающих вывесок, по черной, липкой, горгуловской мостовой — завидовать, подозревать и ненавидеть. Художник X голодает в своей неоплаченной, неотопленной мастерской без воды, без уборной, газа и электричества. В таком же положении находятся художники Y и Z, не говоря о других буквах латинского алфавита, — терзаемые неправдоподобным желанием зажечь моря. Голодный человечек в потертом костюме, плохо выбритый, завистливый, не научившийся любить и нелюбимый, борясь с туберкулезом, торопится окончить начатую вещь, которая в неповторимые часы работы бывает страш-

нее, взыскательней и полновластнее туберкулеза. Моря пылают холодным блеском масляных красок. Газетчики кричать о войнах, революциях и казнях, о преступниках и о вождях, Иван Константинович Данько-Даньковский, заблудившийся в трех соснах, ходит на диспуты, в метро целуются по вечерам подростки, идут дожди, но огонь пробивается сквозь улицы, сквозь толпы, сквозь войны, страны и революции. Со временем краски тускнеют, но ни желтизна столетий, ни сквозняки музейных зал не в силах загасить пожара.

4.

К счастью, люди начинают обезличиваться. Черты лица стираются, отдельная жизнь проходить незамеченной, становится фоном, грунтом, прокладкой. От этого зрелище несомненно выигрывает, в глазах не так рябит, краски плотнеют, вырабатывая собственную прямую речь, поверхность приобретает ровную ткань, которую можно рассматривать без микроскопа — по метрам, по верстам, по десятилетиям. Нам известна изо дня в день вся жизнь Леонардо да Винчи, мы знаем все приключения Челлини, Виллона, Лермонтова, Рембо. Когда Рафаэль появлялся на улицах Рима, любой бродяга узнавал его по походке. Что можем мы сказать о величайшем художнике наших дней? Что он испанец родом, что он живет на улице Боэси, брюнет — теперь уже поседевший, женат на русской? Кто узнает его на улице? Соседняя молочница? Торговец его картинами? Случайно встреченный художник, и то не каждый? Что мы знаем о другом современнике, живущем, вероятно, рядом с нами? От его картин нам трудно оторваться, мы помним наизусть их грязно-оранжевые, розовые, голубые пятна, в которых мерцают цветные точки и нетвердые призраки комнат, людей, садов. Мы знаем только, что он — старик.

Такая неосведомленность наполняет нас радостью. К биографиям мы относимся недоверчиво. Больше того: био-

графии вызывают в нас чувство брезгливости, мы давно сравняли биографию со сплетней, с праздной рыночной болтовней. Если подробности жизни изобретателя оптических стекол, бумаги или двигателя внутреннего сгорания не влияют на степень полезности этих изобретений, то по какому праву человек, пишущий картины, симфонии или романы, считает возможным навязывать в качестве приложений к ним свой туберкулез или безудержность поступков, заботливо подкрашенную святость (святость в людях всегда раздражает) или несчастную любовь к блондинке? Отвлеченное наше внимание к произведениям художника, иногда — восторг перед ними, — выше, чище и бескорыстнее, чем любовь к человечеству. Биографические декорации мы оставляем в утешение звездам экрана и тенорам, вообще — представителям низшей расы.

Не надо ли говорить о современниках, незнакомых нам лично? Возьмем хотя бы Ивана Константиновича Данько-Даньковского, с которым мы встречаемся почти ежедневно на улицах, в кафе, на диспутах, в коридоре уцелевшего до наших дней на улице Сены отельчика «Марок», где когда-то жили герои бесконечной лесковской повести «На ножах», а ныне проживает Данько-Даньковский. Мы не помним его лица. Он уподобился Саиду Бен Аршану — с того дня, когда араба обезглавили. Мы помним потрепанный пиджачок, помним широкие, влажные ладони, но над плечами, над полосатеньким несвежим воротничком — пустота, то есть — дома, деревья, обои, — в зависимости от обстановки встречи, словом, все, что угодно, кроме головы. Иногда, если беседа затягивается, над полосками воротничка начинают проявляться слабо очерченные объемы, нечто вроде скул, носа, округлости лба, но достаточно отвернуться на секунду — и видение позабыто. А между тем, мы очень коротко знакомы с Данько-Даньковским. Мы ясно представляем не только его пиджак, воротничок и ладони, но даже визитную карточку, на которой под фамилией прибавлено мелким шрифтом слово «монист». Такое близкое знакомство не мешает нашему полному незнанию надплечной конечности Ивана Константиновича Данько-Даньковского. Что

это? отсутствие зрительной памяти? Правильнее предположить обратное: отсутствие зрительных признаков...

Мы никого не знаем в лицо и гордимся тем, что нас никто не узнает. Похожие один на другого, мы ходим по улицам. В угловом бистро художник Райкин с Сережей Милютиным катают шары на «русском» биллиарде, хотя таких биллиардов никогда не бывало в России, как не было французских булок во Франции. За столиком все тот же француз курит синюю папиросу. Пиджак висит на спинке стула. Три нижних пуговицы жилета и две верхних пуговицы брюк расстегнуты, чтобы не стеснять живота. Десятка полтора бесцветных волос приклеилось к очень белому темени над очень красным лицом. Желтый стакан Перно отбрасывает от себя лучи — вроде тех, что карикатуристы рисуют, изображая бриллиантовые кольца и браслеты...

Гости мадам Шацкой нашли ее сюрприз весьма остроумным и, решив в один голос, что у нее — золотое сердце, охотно играли в бридж, хоть и по более мелкой, чем обычно.

5.

Фанни Браиловская, личная секретарша Горфункеля, по утрам записывает под его диктовку ежедневные наставления шоферу Грише, горничной Мэри (Марья Васильевна Струнникова) и кухарке за повара, мадам Бушуевой, — под общим заголовком:

**Меморандум
моих людей по менажу.**

Горфункель сидит в сафьяновом кресле, откинувшись на спинку. Пунцовый шелковый халат распахивается, открывая голое колено и волосатые икры, опутанные проволокой вен; пятки выскальзывают из пунцовых туфель. Фанни Браиловская пишет, ее ногти лоснятся бронзовым лаком.

Меморандум
от 12-го декабря.

1. Необходимо просмотреть прошлые костюмы бывших шоферов и выдать их носить Грише. Они безусловно подойдут. Вдобавок дать ему один прошлогодний мой костюм синий (я укажу). Переделать уже должен он сам, либо я готов дать на это максимум 10 фр. Я ему также дам мой галстук (один) и перчатки, чтобы он всегда был элегантен и производил эффектное впечатление-гала {это не для меня лично, сколько для клиентуры).

2. Чтобы Гриша и Мэри сделали следующее: а) граммофон и радио в окончательный порядок (мембрану занять у моего шурина); в) повесить картину с оленем в коридоре; с) вызвать от Фурмана и поставить в салон; д) в моем отсутствии от Парижа я приглашу мою бель-сэр проверить весь инвентарь и количество старых газет в шкафу в коридоре, которые всегда пригодятся и сделать точную опись, равно как и газетам и потом сдать Грише и Мэри под расписку, равно как сделать опись инвентаря в их комнатах и что есть в погребе и гард-манже (консервы).

3. Мэри должна давать мои распоряжения (инструкции) шоферу и записывать точно, когда он становится на работу и когда кончает. Недостаточно давать только шоферу, надо обязательно давать обратно мне, чтобы я мог в любую минуту проверить.

4. Когда я, сходя с машины, надо открывать дверцу и обязательно снимать фуражку с поклоном, как другие. К этому вопросу более не возвращаться...

Шофер Гриша, — штабс-капитан из союза галлиполийцев и холостяк. Точнее говоря — не холостяк, а женатый, но его жена с пятилетним сыном давно затерялась где-то в России. Иногда, раз в два-три месяца, а то и раз в полгода, шофер Гриша вскакивает ночью с постели и грузно рыдает. В такие минуты он дает себе клятву бросить машину Горфункеля под автобус. Утром, забыв клятвы, шофер Гриша

степенно отправляется в гараж. Еще реже, не более одного раза в год, шофер Гриша наряжается в походную форму своего полка (на груди — две медали и орден Станислава 4-ой степени, оставленный ему приятелем Карпенко, уехавшим в Парагвай, чтобы там сесть на землю) и в рядах русских воинских организаций и уцелевших однополчан марширует вдоль Елисейских полей к могиле неизвестного солдата. Полное соблюдение установленной формы не достигнуто, парадные мундиры движутся в соседстве с защитными гимнастерками, эполеты — с погонами, кое-где не хватает оружия, кое-кто явился в гражданском платье, но при военной фуражке и знаках отличия. Впереди — серая тень Триумфальной арки — гигантская буква П на краю земли, ворота, уводящие в небо. Лают автомобили. Елисейские поля с холодным любопытством пропускают шествие, похожее на довоенный фильм, и шоферу Грише минутами отчетливо, до испарины стыда, начинает казаться, что в его руках и вокруг него — балалайки, домбры, гитары, и что шагающий в первом ряду генерал-майор Груздевич вот-вот обернется, взмахнет рукой, и все запоют с цыганской задушевностью:

Дорогой дальнею, да ночью лунною,
Да с песней той, что в даль летит, звеня,
Да с той старинною, да семиструнною,
Что по ночам так мучила меня...

5. Вчера было куплено мяса на 14 фр. и куда оно делось? Только на беф-строганов? Совершенно невероятно. Для прислуги нужно готовить, что не стоит дорого и максимум 2 раза в неделю немного мяса от моего стола.

6. Необходимо завести тетрадку для записи пустых бутылок, которые пригодятся (для принципа).

7. Почему вы не отсолили селедку, так как я страдаю диабетом?

8. Абсолютно натирать до блеска пол в W. C. и вешать изящную салфетку и бумагу двух сортов, что же касается до

анчоусов, то их следует покупать в итальянском магазине, п. ч. в бочках они дешевле, чем в коробках.

9. Всегда помнить, что вы живете во Франции на положении рефюжье и что я делаю для вас больше, чем вся Лига наций.

10. Проявлять инициативу.

. . . .
. . . .

6.

В который раз Сережа Милютин повторяет, что может строить доходные дома, больницы, банки, вокзалы, кинематографы, отели, закупать материалы и техническое оборудование для строительных фирм, отделывать и обставлять квартиры, магазины, выставочные помещения, писать декорации, чертить...

Господин Вормс, смотревший в пространство, прерывает объяснение Милютина и, обращаясь к сидящему рядом человеку в роговых очках, изучающему собственные ногти, то поднося пальцы к лицу, то отодвигая их на всю длину руки, — начинает собственный рассказ о банкире Гордоне, о жене Гордона, мадам Гордон, об их замке на Изере, где они познакомились с Вормсом, так как на Изере Гордоны и Вормсы — соседи. Вормс, кстати, предлагает человеку, изучающему собственные ногти, совершить совместную поездку на Изер и по дороге обсудить подробности их общего плана, а также отобедать с юрисконсультом Шрамером, и что к обеду они закажут форели и курицу, хотя он нигде не ел такой форели, как в Лионе, у матушки Фью. Сережа Милютин сидит, тягостно улыбаясь и все еще веря, что рассказ господина Вормса будет иметь к нему, Милютину, какое-то отношение. Вообще, форель матушки Фью, связанная кольчиком и поданная с отварным картофелем в растопленном масле... Господин Вормс оживляется, и те-

перь его слова обращены не только к человеку с ногтями, но отчасти и к Сереже Милютину... Конечно, рыба рыбе — рознь. Рыба бывает живая, уснувшая и замороженная, Доброкачественность уснувшей рыбы узнается по следующим признакам: глаза должны быть полные, выпуклые и блестящие; кожа — твердая и гладкая, без слизи и налета; мясо должно плотно прилегать к костям; жабры должны быть внутри красного цвета. Чтобы убедиться, что жабры не подкрашены, надо потереть их влажной белой тряпочкой. Доброкачественность замороженной рыбы узнается также по выпуклости глаз...

Несмотря на странный и не подходящий к случаю предмет разговора, посещение Милютиным господина Вормса надо признать удачным, так как обычно в свободные минуты Вормс более всего любил изобретать каламбуры, игру слов, в чем считал себя непревзойденным мастером, как, впрочем, и в делах (рекламное агентство в области мелкой и крупной промышленности — от пилки для ногтей и противогазовых масок до гигантских турбин и судостроительных верфей). Противогазовую маску господин Вормс непременно изображал розовой краской, на туалетном столике, рядом с зеркалом, пудреницей и томиком стихов графини де Ноайль; для пароходных линий появлялись счастливые молодожены на палубе; для охотничьих принадлежностей — заяц, восхищенно заглядывающий одним глазом в дуло двустволки; для средства против мозолей — обнаженная женщина, поставившая ногу в таз, над которым пар принимал формы розовых лепестков; для искусственного кофе снова появлялись молодожены; молодожены служили также рекламой для рисовой пудры, для спальных вагонов, для курортных гостиниц, для зимнего спорта, для шерстяных фуфаек, для грелок в постели, для детских колясок, для двуспальных кроватей, именуемых «национальными», для газовых плит, для ванных комнат, для граммофонов и радио, для автомобилей, электрических станций, порнографических изданий, фотографических аппаратов, собачьих выставок, домостроительных компаний, универсальных магазинов, лотерейных билетов... Не менее часто господин

Вормс прибегал к изображению Наполеона или отдельных частей Наполеона: прядь на лбу — для фиксатуара; рука, просунутая в разрез жилета — для пуговиц; нога в ботфорте, поставленная на барабан — для сапожной мази; Наполеон в зеленых очках от яркого света: запасись Наполеон вовремя такими очками, его не ослепило бы солнце Аустерлица; Наполеон с таблеткой аспирина, которая, несомненно, спасла бы его от поражения при Ватерлоо. Какой бы продукт ни предлагали заботам господина Вормса, в его представлении тотчас выступали молодожены, Наполеон и голая женщина — целая или разрезанная на куски, как бык в поваренной книге.

7.

Тем временем Иван Константинович Данько-Даньковский в полнейшем одиночестве мечтает о подвигах. По своей природе Иван Константинович — общественник. Он поправляет перед зеркалом галстук. Покончив с галстуком, Иван Константинович придает своему лицу надменное выражение, затем выражение тонкой иронии, иронию сменяет глубокомыслие, потом — стремительный поворот головы в сторону, снисходительная улыбка, и в зеркале еще раз отражается холодное, надменное лицо, видимое, впрочем, одному Ивану Константиновичу, потому что в комнате, кроме него, никого нет. Он беззвучно произносит длинную речь, отражает выпады невидимых, но несомненно существующих противников, нетерпеливо слушает рукоплескания. Иван Константинович надевает пальто, шляпу и, захватив листок бумаги для заметок, отправляется на диспут. В метро Ивану Константиновичу кажется, что люди, стеснившие его в вагоне, прислушиваются к речи, и потому он улыбается, беззвучно продолжая говорить: «Предвидя новую атаку уважаемого докладчика, я, все же, постараюсь точнее отшлифовать мое положение, заключающее в себе если не все звенья, то...» Но странным образом в этом месте речь Ива-

на Константиновича включается в громыхание вагонов, и он никакими усилиями не может ее оттуда извлечь. Он беспомощно повторяет «звеньето, звеньето, звеньето...» — непонятное слово, отставшее от мысли и вызывающее тоску.

Иван Константинович выходит на бульвар и тут же встречает Наталью Ильинишну Корсак.

— Вы, конечно, на диспут? — спрашивает он.

— Нет, я на минутку в аптеку: у Шурочки что-то с желудком...

Иван Константинович машет рукой, бежит и у витрины «100.000 рубашек» (различимых между собой только по номерам) нагоняет огромного Тошу-Картошу.

— Ты на диспут?

— На диспут.

— Будет бой! — начинает Иван Константинович, но Тоша-Картоша прощается: ему не по пути, он спешит, ну да — на диспут, но на другой.

Сидя в пятом ряду, Иван Константинович слушает человека, в очках которого отражается люстра. Над головой председателя висит, сбившись набок, портрет Пастера. Иван Константинович делает заметки: на его потной ладони — листок бумаги, карандаш чертит крестики, потом кружочек, точку; точка протыкает бумагу. Руки дрожат, воротник давит горло, распаляются уши. Третий оратор сходит с эстрады, и тогда председатель, неумолимый и беспощадный к Ивану Константиновичу, произносит, читая его записку:

— Слово предоставляется господину Дятло-Дятловскому. Кажется, так?

Иван Константинович подымается, не чувствуя своих движений; его несут, его сейчас бросят в пропасть. Собрав последние силы, последнюю долю сознания, ухватившись за последний выступ скалы, оказавшейся плечом соседа, Иван Константинович чужим и пронзительным голосом снимает свою запись. Степанида Маврикиевна Бланш со вторым мужем, еще кто-то — почему, да почему вы раздумали говорить? Наступая на ноги, Иван Константинович пробирается к выходу и больше уже ничего не слышит, кроме собственного сердца. По складкам ладоней текут ру-

чейки. На кафельных станциях метро мелькают афиши: пятна, линии, буквы, виноградные лозы, газовые плиты, пивные стаканы, а также — молодожены и Наполеон.

* * *

1

У господина Вормса были капризные болонки, Ло-ло и Мустико, квартира в девять комнат, отделанных полированным деревом, и еще молодая, но уже располневшая жена. Господин Вормс неизменно любил смотреть, как она раздевалась, не торопясь снимая с себя белье, всегда разнообразное и надушенное. Особенно нравилось ему, когда жена снимала сорочку, постепенно обнажая свое тело снизу вверх. В таких случаях он всегда находил для жены какое-либо нежное слово и непременно целовал ее, всякий раз по иному: то — подмышкой, то — между лопаток, то — между ягодиц, то — в пупок. Но более всего господин Вормс любил свою жену, когда она опускалась в ванну: тело в воде принимало неверные формы, и жена казалась Вормсу новой, незнакомой женщиной. По вторникам господин Вормс заезжал к беловолосой кинематографической актрисе Клод Дюкрэ, которую, однако, никакие изощрения рекламного агентства, никакие деловые обеды у Корнилова и у Фукеца не могли выдвинуть на первые места. Клод Дюкрэ плакала, билась в истерике или просто била господина Вормса, — он клялся, обещал и ничего не мог поделать. По четвергам он заезжал к Сесиль Дювернуа, маленькой Сиси, служившей раньше у него стенографисткой, привозил ей подарки — ликер, конфеты, золотых рыбок,— бил ее, не очень больно, но все же до красноты, легонько покусывал ее груди и уходил не позже часа ночи.

Жена господина Вормса посвящала вторники (день незадачливой Дюкрэ) коктейлю с подругами. Ворковал приглушенный граммофон, от радиаторов и камина бывало слишком жарко в комнате, горячили коктейли, подруги щебетали о своих любовниках, делились подробностями любовных встреч, глотали джин и виски, раздевались, чтобы сравнивать высоту груди, линию бедер и нежность кожи, раздетые танцевали друг с другом румбу, потом был хлюпающий шепот при погашенных лампах и, наконец, все засыпали на пышных диванах, а также на шкуре белого мед-

ведя перед камином. По четвергам (день маленькой Сиси) жена господина Вормса ездила в Сен-Жермен с известным хирургом Вениамином Делаво; там, в загородной вилле Делаво, она тоже садилась в ванну, так как известный хирург не менее, чем Вормс, любил видоизменение тела в воде. Вениамин Делаво даже сам, своей рукой баламутил воду в разных направлениях; наглядевшись, он в свою очередь раздевался и входил в ванну, где они играли, как дети, после чего, утомившись, ложились спать...

Известный хирург Вениамин Делаво, собственно, уже много лет назад оставил так называемую большую хирургию; он не отпиливал ног, не вскрывал животов, не вырезал слепой кишки, — он основал кабинет для вырывания зубов. Именно в этой отрасли врачебного искусства он приобрел широкую и заслуженную известность. За каждый удаленный зуб Делаво взимал по 300 франков. В передней встречал больного лакей во фраке, в белых перчатках и белых чулках; в салоне, завешенном до потолка картинами всех школ и направлений, навстречу больному выходила сестра милосердия в голубом платье и в белом головном уборе; в следующей комнате уже не было картин, ни светских журналов на столиках; молодой человек в белом халате получал условленную сумму и записывал на особом бланке с изображением полости рта имя, фамилию, возраст, общественное положение и адрес больного, а на рисунке крестиком отмечал зуб, подлежащий удалению. С этим листком больной входил в третью комнату, которую можно считать предбанником операционной залы; в этой комнате больному щупали пульс, измеряли давление крови и делали рентгеновский снимок с зуба, чтобы насквозь увидеть и обсудить состояние корня; две сестры милосердия вводили, наконец, больного в операционную залу, где его встречали два ассистента Делаво и усаживали в удивительное кресло, которое, в сущности, не было даже креслом, но некоторым пластическим пространством, мгновенно воспроизводившим все изгибы человеческого тела, в него погруженного: ни один сустав не встречал препятствий, — стоило человеку вытянуться во весь рост и лечь — вытягивалось и ло-

жилось кресло; сядь человек на корточки — садилось на корточки кресло; человек поворачивался на бок — в кресле уже были готовы углубления для локтей, для поджатых колен; когда человек собирался сойти с кресла, — оно само ставило человека на ноги. Ассистенты с помощью сестер милосердия замораживали больной зуб, вслед за чем в зале появлялся хирург Делаво, в белой шапочке, белой куртке с наглухо застегнутым воротом и красной розеткой Почетного легиона. Произнеся несколько слов о погоде и о международном положении, Делаво надевал резиновые перчатки, отчего пальцы становились неживыми, прозрачно-розовыми и без ногтей, брал из рук ассистента щипцы и вырывал зуб не менее безболезненно и ловко, нежели всякий другой дантист, получающий двадцать франков. Поставленный креслом на ноги, больной переходил в пятую комнату, с пригашенным голубым освещением, где ложился отдохнуть на диван и выпивал рюмку порто для подкрепления сил. В шестой комнате снова висели картины, и сестра милосердия провожала больного с таким независимым видом, что ей никак нельзя было дать меньше пятидесяти франков чаевых; в передней шляпа больного уже покоилась в белых перчатках лакея, который тут же обменивал ее на десять франков, и тогда пациент выходил на улицу — растроганный, польщенный и с нарастающей болью во рту...

По воскресеньям супруги Вормс отправлялись в церковь слушать мессу.

2.

Приготовляя разварную форель, необходимо ее хорошенько выпотрошить, вырезать жабры, вычистить находящуюся внутри на спинной кости кровь, положить в рыбный котел с решеткой, залить холодным бульоном, сваренным из белых кореньев, лука и специй, и дать один раз вскипеть на большом огне, после чего отставить на малый огонь и варить с полчаса. Когда глаза побелеют и выступят нару-

жу — значит, рыба готова. Остается снять верхнюю кожу, выложить на блюдо и украсить отварным картофелем (по-английски) и свежей зеленью. Отдельно подавать растопленное масло или острый соус из горчицы, сырых желтков, соли, уксуса и прованского масла с каперсами, оливками и маринованными огурчиками. Еще лучше — голландский соус из коровьего масла, сваренного на бульоне с мукой и желтком, заранее растертым в лимонном соке.

Господин Вормс ошибался: всякому знатоку и любителю французской кухни известно, что матушка Фью славится отнюдь не форелью, а именно своей курицей, инкрустированной трюфелями и томленой в сливках. Действительными знатоками французской кухни следует признать не французов, предпочитающих ей зернистую икру, а русских губернаторов. В 1923 году, в Москве, когда архитектор Милютин, уезжая за границу с Виндавского вокзала, стоял на подножке спального вагона, Бобочка Струмило, секретарь коллегии Северолеса и бывший сын тверского губернатора, крикнул на прощанье:

— Непременно сходи в Париже к Лаперузу. Уж там, братец, поешь!

Бобочка Струмило стал бывшим сыном тверского губернатора с выхода в свет того номера «Известий», в котором появилась набранная петитом заметка:

> «Сопляков, Павел Григорьевич, проис. из Киевской обл., Черкасск. окр., Медведовск. р-на, с. Головковки, прожив. Москва, Мал. Никитская ул., д. 12, кв. 10, меняет фамилию Сопляков на Станиславский. Лиц, имеющ. препятств. к перем. фамилии, прос. сообщить в Мособлзагс, Петровка, 38, зд. 5».

Рядом с этой заметкой и тоже петитом было набрано следующее:

> «Я, Струмило, Борис Артемьевич, живу самостоятельно и с отцом, чуждым мне идеологически, порвал всякую связь. Просьба не считать меня его сыном».

Правда, Бобочка Струмило был не один, и тут же с подобными заявлениями выступали также Зикеев Т. П. и Гуськова А. А. Справедливость требует отметить, что препятствий к перемене фамилии Соплякова не встретилось, и ему был выдан новый паспорт на вечные времена, где значилось: «Станиславский Павел Григорьевич, урожденный Сопляков». Одной из самых обременительных и незаслуженных человеческих тяжестей несомненно является наследственность: цвет кожи, имена, черты лица, болезни, троны... Что же касается до Бобочки Струмило, то из Северолеса его в скорости перевели в Севпуштрест, из Севпуштреста — еще подальше, и уж оттуда он был отправлен рыть Беломорский канал. Судьба Зикеева Т. П. и Гуськовой А. А. неизвестна.

Сережа Милютин не попал к Лаперузу и, вообще, форелей в Париже не едал. Из рыбных блюд он больше всего любил полурыбный форшмак из селедки с картошкой и вареным мясом. Но последний форшмак, который он сел, был изготовлен из мороженой картошки лилового цвета, вместо селедки размочили в воде вяленую воблу, мяса же не достали совсем. Тем не менее форшмак удался чрезвычайно, хотя и вышел настолько соленым, что под него можно было выпить небольшое озеро. Муня Слуцкий оказался дико шикарен, он расшибся в доску, но выставил три бутылки аптечного спирта, который заменил собой озеро и быстро угасавшую печурку.

Произносились речи, и Нюточка (Анна Абрамовна Бродская) слушала их, опустив голову на ладони. Андрей Белый читал стихи о своем детстве, Александр Блок шептался в углу с Дашенькой Неждановой, и снова все говорили разом — и Витя, и Милютин, и Николай Николаевич, и взволнованный Пяст, страдавший одышкой, голодный неудавшийся Пяст, и сосредоточенный Фрейберг, и потом случилось так, что все уснули, кто где мог — в столовой на диване, на креслах, на полу — в шубах и в валенках, а в спальной отдельно, прикрытые тулупами, Анна Абрамовна с Дашенькой на кровати. Сон был крепок, от спирта не осталось ни капли, и когда — ближе к утру — в сон ворвался

звонок, досадный и неуместный, — один Муня Слуцкий проснулся и сразу понял, что двери придется открыть непременно.

— Братская могила, — сказал, входя, комиссар, — открыли бы фортку... Документы в порядке?

Комиссар звенел, бренчал, звякал, несмотря на отсутствие шпор и шашки (кобура — не в счет: кобура — до ужаса молчаливая вещь).

— Не шумите, товарищ, — произнес Муня Слуцкий, — здесь спит Александр Блок.

— Деталь, — ответил комиссар, — который Блок? Настоящий?

И Муня Слуцкий засмеялся, повеселев:

— Стопроцентный!

— Это?

Муня Слуцкий кивнул головой. Комиссар взял со стола портфель и вышел на лестницу, уводя притихших красноармейцев.

В предутренний снегопад Александр Блок возвращался к себе на Офицерскую. Рядом с ним шел Белый. Блок — в тулупе, Белый — в чем-то, в тряпочках вокруг шеи, в тряпочках вокруг пояса. Ложился снег на мостовую, на крылья Казанского собора, на зингеровский глобус Ленгиза.

Блок уходил налево по Казанской, Белый продолжает путь к Адмиралтейству, к синему сумраку Александровского сада. На мосту, над каналом, пронзителен снежный ветер, снежный свист раннего утра, едва успевшего поголубеть.

— Чернил! — кричит Белый, — чернил, и хоть какой-нибудь обрывок бумаги! Я не умею писать на снегу...

Тряпочки, седые локоны по ветру, худенький, черный, продрогший памятник у чугунных перил над каналом, сумасшедшие глаза на детском лице. Голубой грузовик, храпя и содрогаясь, взбирается на вершину моста. Последнюю романтику — в сверхурочные часы, по повышенному тарифу, с перебоями, с опечатками — наборщики нехотя и невнимательно складывают в семейный склеп «Записок мечтателей».

3.

Ноги Сережи Милютина обуты в черные ботинки. Подошвы расслоились и на пятках протерлись насквозь; это — не страшно, потому что подошвы легко скрыть от постороннего взгляда, но плохо, что на правой ноге, на самом видном месте — дырочка. Вчера была щелка (что тоже еще терпимо, так как щелку можно принять за складку или за царапину), но сегодня — уже дырочка, а завтра будет дырка. Превращение складки в щелку совершается медленно, но лишь только образуется отверстие, дальнейшее разрушение происходит с возрастающей быстротой. Господин Вормс говорит о форелях матушки Фью, утверждая, впрочем, что на Изере они тоже не плохи; человек, изучавший собственные ногти, занялся изучением опаловой пепельницы на столе. Сережа Милютин, поджав правую ногу и тягостно улыбаясь, ожидал той минуты, когда ему придется встать и обнаружить изъян на ботинке. Сидя в кресле, нетрудно заложить ногу за ногу, но нельзя же стоять и ходить на одной ноге. Ботинки у Милютина черные, носки — зеленые в полоску; уходя из дома, Милютин закрасил носок — сквозь дырочку — чернилами, так что не только носок, но, вероятно, и мизинец стали черными, но обмануть таким приемом можно только близоруких людей. Разговор о форелях давно превратился в беспредметное журчание, слова господина Вормса потеряли опору согласных букв. Не переставая улыбаться, Сережа Милютин думал о своих ботинках, о том, что ноги Ксавье, у которого едва поношенной обувью наполнен ящик в гардеробе, на два номера меньше его, Милютина, ног; о том, что по ошибке он капнул в дырочку красные чернила, вместо черных, и лишь сейчас это с ужасом заметил, несмотря на предупреждение банкира Гордона, и вдруг увидел в смутном недоумении, как в комнату вошел школьный приятель Володька Перцов, давно убитый на войне, вошел в белом теннисном костюме, о чем-то крича, хотя слов не было слышно, видны были только движение скул. Володька Перцов падает на-

взничь на красный песок площадки, и со всех сторон, со стен, сквозь стены к нему сбегаются люди... Сережа Милютин испуганно вздрагивает и снова видит перед собой опаловую пепельницу и господина Вормса. На этот раз господин Вормс прерывает речь и, предложив Милютину оставить свой адрес, просит передать банкиру Гордону чувства совершенного уважения и дружбы.

Простившись с господином Вормсом (за руку) и — кивком головы — с человеком, изучавшим опаловую пепельницу, Сережа Милютин торопится к Горфункелю, от которого утром получена пневматичка. По карте Парижа над входом в метро Милютин ищет кратчайший путь. Езда в метро с одной пересадкой займет минут тридцать, значит, идти пешком придется часа полтора. Вопрос не в ногах, не в усталости, хотя с утра еще ничего не едено, — вопрос в ботинках, состояние которых продолжает волновать Сережу Милютина. Его костюм почти в порядке, шляпы Милютин не носит, но подошвы сдвинулись и теперь держатся не посередине ботинок, а сбоку, параллельно к ним. Но если бы Милютин надел ботинки Ксавье, тесно сжав и подогнув пальцы, то, несмотря на пристойную внешность, путешествие к Горфункелю оказалось бы неосуществимым... Смешная история! Милютин улыбается, поглядывая с нежностью на свои ботинки (вот опять пробуждение нежности!) и по строго намеченному кратчайшему пути отправляется к Горфункелю, стараясь не шаркать подошвами, а ставить ноги на тротуар по возможности вертикально.

Лают, рявкают, рычат автомобили; на перекрестках происходит грызня; газетчики орут голосами катастроф и землетрясений; лупоглазый рахитик с повисшими усами, любимец парижских стен, растопыривает в пальцах букеты бутылок; голый всадник мчится на огненной зебре; чернеет небо над крышами; Родион Раскольников в студенческой тужурке и в цилиндре сторожит у подъезда кинематографа; огни — снизу и сверху, справа и слева, неподвижные и бегущие; черные ветви деревьев и крики газетчиков, и улыбка большеголового, чудовищно распухшего младенца; труп в чемодане, приплюснутый нос боксера, глаза Джоанны

Крауфорд. Милютин движется в толпе — черной, коричневой, синей; мелькают имена, слова, и буквы, и улыбки, розовые женщины в шелковом белье, торговцы кокаином, самоубийцы, ажаны, заклинание министров, глаза, перчатки, плечи, бутылки, папиросы, автобусы — шероховатая, бугристая поверхность предметов, звуков и движений, — и возглас Горфункеля:

— Здравствуйте, господин Малюткин-Большуткин! Как живы Гордоны? Хорошо ли глядит маленький Юзя?

Горфункель поведет Милютина в столовую и скажет горничной Мэри:

— Один кувер, сильвупле! Молодой человек уже, наверно, обедал.

Горфункель съест свой обед, вынет изо рта искусственную челюсть, прополощет ее в особой мисочке, которую Милютин принимал за соусник, и движением фокусника снова вставит зубы в рот. Перейдя в гостиную, Горфункель потреплет Милютина по щеке и взглянет с укором на его ботинки:

— Каши просят? Ничего, стерпится — слюбится. Я намерен для начала предложить вам выгодное дело; вы хорошо заработаете, и мы оба хорошо заработаем: подберите мне партию немецких евреев, которые хотели бы стать персами.

4.

— Allo! Monsieur Гордон? Савелий Моисеевич? Здравствуйте! Как ваша половина? Хорошо ли смотрит маленький Юзя? Скажите, Савелий Моисеевич, что это за тип, ваш Милютин? С меня довольно типов! У меня вся фигурация состоит из типов. Как новый фильм, так меня тошнит от типов. Он шляется ко мне туда и обратно пачкать ковер, и всегда голодный. Вы знаете, я человек сентиментальный: он положительно может меня разорить. Если он такой знаменитый архитектор, так дайте ему построить запасной

клозет в вашем шато; вам 72 года, и вы проживете еще 50, все равно одного клозета не хватит...

Хриплым, древним, библейским голосом банкир Гордон отвечает:

— Он слишком беден, чтобы хорошо строить, не морочьте мне голову.

Горфункель вешает телефонную трубку. У подъезда его поджидает шофер Гриша в автомобиле. Выбритый, проутюженный и надушенный, Горфункель едет на Елисейские поля в свою контору «Геркулес-фильм». Он поднимется на третий этаж, войдет в просторный холл, где встретит завсегдатаев, занятие которых и выражение лиц неопределимы. Холл обставлен покойной, мягкой мебелью, и в нем множество дверей; над каждой дверью горит красная лампочка, означающая, что в данную минуту вход в комнату воспрещен. Лампочки горят целый день — неугасимые лампады, но голоса слишком громки для того, чтобы их не услышать.

Разговор за первой дверью:

— Черт знает, что такое! Ваша паршивая Дэзи Прат, которой мы платим по контракту 200.000, заявляет, что ее хахаль запретил ей показывать ляжки! Что же вы сидите? Вы знаете, что такое широкие массы? Широким массам нужны ляжки и вовсе не нужен посторонний хахаль! Что же вы сидите, как канарейка, черт вас дери?!

Вторые двери открыты настежь, хотя красная лампочка продолжает гореть, и в комнату заходят все, кому хочется двигать ногами. Там художник прикрепляет кнопками к стене трехметровый проект афиши. С художником, рисующим афиши, обычно не здороваются или, здороваясь, не подают руки, — пусть побегает: он же — художник!

На афише — русская тройка в снежной равнине. Художник, стоя у афиши, ждет решений. Директоры, продукторы, распространители и покупатели фильмов заходят в комнату, не здороваясь с художником, посмотрят мельком на афишу, поговорят о своих делах и снова выходят. Через час начинается разговор:

— Почему у вас дуга красная, господин «художник» от слова «худо»? Дуга должна быть зеленая! И вообще, нам надо, чтобы тройка скакала не справа налево, а слева направо, не то подумают, что мы большевики! Что вы скажете на эту афишу, monsieur Марк?

— Почему снег не белый, а какой-то голубой? Могу я за мои деньги иметь белый снег, или не могу?

— Ну, это — ничего, monsieur Марк: это — немного модерн.

— А если дама закапана, это — тоже модерн?

— Это капает снег.

— Ну, если это снег, тогда закапайте всю афишу...

Разговор прерывается, потому что, забыв о художнике, директоры, покупатели, распространители, шеф пропаганды, продукторы уходят завтракать...

За третьей дверью — тишина. Но когда дверь открывается, оттуда выбегает человек, на лице которого — ужас. Подробности разговора за третьей дверью неизвестны. Известны лишь последние слова Горфункеля: «я не сентиментален», после чего собеседник вышел от Горфункеля нищим. Если на другой день газеты не сообщат о новом самоубийстве, то, вероятно, потому, что человек, раздетый в третьей комнате, равен Горфункелю, и скоро снова оденется с иголочки и будет тщиться раздеть Горфункеля.

Часа через два шеф пропаганды скажет продуктору:

— А что с афишей? Он ведь стоит, как нанятой, и ждет.

Но господин Марк ответит:

— Ничего, подождет: он же — художник!

5.

Рубленые котлеты, салат из свеклы, салат Оливье, пирожные с разноцветными пупырышками, селедка, коркуновские огурчики, чайная колбаса, халва, всякая снедь — разложены по блюдам, тарелкам и банкам в бакалейной русской лавочке, что на улице Convention; смирновка, ряби-

новка, сливянка, спотыкач; советские консервы: осетры, бычки, черешня; сладкие булочки вертушками и подковками, с вареньем, с толчеными орехами, залитые сахаром, посыпанные маком. На стене — картонка с надписью:

«Приходящего ко Мне не изгоню вон»

(Ин. 6, 37).

«Вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; покупайте без серебра и платы»

(Ис. 55, 1-3).

На другой картонке напечатано:

La maison ne fait pas de crédit.

На выручке — копилка убежища русских инвалидов с трехцветным российским флажком...

Накрапывает разговор:

— Помнишь двух девочек в Крыму, в Судаке?

— За которыми бежали? Они спаслись вплавь?

— Такие китаяночки, с раскосыми глазами. Помнишь, это было там, немного направо? Дочери полковника. Там еще была такая колясочка. Ну, ты должна помнить: подальше, на той стороне. Она еще была влюблена.

— Ах да, конечно, конечно. Я еще сказала «цып-цып-цып!» Мы безвыходно сидели, не выходя. Она поступила в консерваторию...

(Отпускаются товары: с чесночком? Без? Колбаска сахарная, мадам! Что кроме?)

— Ну да: знаменитый мрачный субъект из Петрограда. Помнишь? Еще когда никакого шрама не осталось. На днях я встретил одного лондонского москвича, так он мне говорит: принимайте сироп, я его сам принимаю.

— Ничего подобного, она вспрыскивает себе пантопон.

— Не она, а ее муж; он ей все бедро истыкал.

— Не может быть? Я же говорила, что этим кончится.

— Независимо ни отчего, они уже переехали и открылись. Проходя по Champs Elysees, он сказал мне: «когда у Этуали французы будут приветствовать красных казаков, я смогу умереть спокойно». Интегральный болван.

— Вздор! Я не видала такой счастливой пары. Она была учительницей музыки и ей, конечно, пришлось туго, но потом пошла по массажу, у нее шикарно развитые пальцы. Потом села на шомаж, а теперь вспорхнула и повеселела, только ужасно волнуется, что нет рабочей карточки: она поступила омывать покойников и надеется, что если дело пойдет, то будет ей неплохо приносить...

— Надежды юношей питают...

— Нельзя же всю жизнь быть скептиками, не все же такие специалисты. Жизнь понемногу налаживается, входит в рамки.

— Не так, как у некоторых других, черт возьми: не жизнь, а жестянка. Да и не жестянка, — жестянку можно загнать на лом. Я бы ему ответил про красных казаков, да в Лондоне совсем другое.

— Вот мадам Бушуева, та, кстати, ловко пристроилась... что значит — хорошо готовить! Она ведь сибирячка: чебуреки, пельмени, варнаки — это, конечно, подкупает. Он очень отзывчивый, прямо замечательный человек. Все-таки, знаешь, — тяжело-тяжело, а жизнь свое берет, это удивительно замечательно! Катюшин племянник прислал из Москвы, что там снег, 12 градусов, и что им выдали валенки, то есть не выдали, там больше не выдают, а покупают... на замечательной кожаной подошве с ушками, и все — настоящее, и в аптеке закупили марлю к Рождеству — на оборки для платьица... Ее сын кончает лицей, мадам Бушуевой сын, она все в него вложила... что значит хорошо готовить. Если бы не ребенок, который будет доктором, стала бы она торчать у плиты со своим прошлым. Очаровательный мальчик, то есть не мальчик, а юноша. Он целиком ушел в науку.

— Наука имеет много гитик.

— В Москве сейчас — снег, мороз, санки. Может быть, даже катаются. Все говорят — колхозники, колхозники! зима-то остается зимой. Происходит какая-то глупость. Тебе не кажется?

— Потому что в Лондоне можно разводить теории, достаточно посмотреть на его пальто.

— Ну и слава Богу! Ведь я совсем не так настроена, как это кажется с первого взгляда.

6.

Не следует говорить о тоске по родине, то есть о вещах, утративших точное определение и живой смысл. Курьерские поезда, аэропланы, телефон, телеграф, радио, собственные корреспонденты газет, — соединили Париж, Берлин, Москву, Токио, Лондон, Нью-Йорк знаками равенства. Фасады домов, профили улиц, памятники на площадях, одежда полицейских, формы правление, языки — еще отличны друг от друга, но для нас эти отличия — только разнообразные инструменты, обогащающие единый мировой оркестр. Нас не удивляет, что француз может полюбить гречанку, а негр — рязанскую колхозницу. Язык полинезийца мы ощущаем фонетически, как звуковую разновидность; как музыкальный оттенок нашей собственной речи, наших собственных способов выражения общечеловеческих мыслей и чувств. Мы понимаем случайность и бессмысленность национальных или расовых разграничений, мы никогда не согласимся отстаивать их в какой бы то ни было форме, в каких бы то ни было целях: в предстоящих войнах мы — заведомые дезертиры; слово «родина» является для нас звуком, не дающим эха, предметом без светотени, определением без образа. Следовательно, если Сережа Милютин (после долгих и противоречивых колебаний занявший у инженера Ксавье двадцать франков) заходит в русскую лавочку на улице Convention, то его отнюдь нельзя на данном

основании заподозрить в квасном патриотизме. Голодный Милютин не умеет мечтать об устрицах, о спарже, о лангустах или даже о кроликах, — он мечтает о рубленых котлетах, потому что чаще всего в жизни ел именно рубленые котлеты. Разговор о тоске по родине здесь неуместен: просто оживает наиболее привычная, давно проверенная вкусовая потребность.

Однако, подойдя к кассе, Сережа Милютин на мгновение забывает о голоде, о подошвах и о котлетах, хотя за кассой нет никого, кроме обыкновенной кассирши с тяжелой русской прической на затылке, женщины средних лет, с накрашенным ртом и выщипанными бровями. Кассирша недоуменно смотрит на Милютина, удивляясь его растерянности, но через секунду произносит испуганным шепотом:

— Сережа, вы?

Подобно реставратору, память смывает с лица мелкие морщинки, припухлости, наносный слой пройденных лет, обнаруживая под ними знакомые черты гимназистки Мурочки.

В 9 часов вечера Милютин встречает Мурочку на улице Вожирар.

— Мне кажется... мне кажется... — начинает Милютин и не договаривает.

Мурочка улыбается в ответ:

— Вы никогда не поймете женщин. Таков наш вечный удел или, если хотите, доля.

— Я вспоминаю твои колени...

— Когда человек перенесет в жизни столько слез, сколько выпало на мою долю...

— У тебя было много любовников?

— Я замужем. Теперь я знаю цену жизни. В жизни надо быть имманентной.

— Что же мы будем делать?

— Женщина — мать и, одновременно, вакханка.

— Пойдем в кино?

— То есть?

— Без всяких «то есть».

— Нет, правда, скажите честное слово!

— Сегодня дают презабавную драму.

— Куда ты мчишь меня, неистовый сатир?

— В кино! Я уже сказал, что в кино.

— Мужчинам не понять нашей участи.

— Причем здесь участь?

— Все на свете трын-трава! Потом, в кино я хожу только даром.

— Я и не прошу тебя платить.

— Еще бы! Но я — принципиально.

— Что — принципиально?

— Есть принципы и принципы...

— Господи!

— Вы уже вздыхаете? Вам со мной скучно? А как же — мои колени? Не позволяю? Это зависит. Ça dépend. Не придирайтесь. Чувство чувству рознь. Скажите честное слово...

Отель «Голубых Звезд» на улице Тольбиак состоит из старого кирпича, деревянных ставен, зелено-красно-золотых обоев и национальных кроватей. Чтобы проникнуть в комнату Милютина, надо подняться по винтовой лестнице на пятый этаж, пройти освещенный газовым рожком коридор, миновать двенадцать дверей и нишу с общественным рукомойником, над которым — крохотная, отсыревшая Мадонна, и по железному мостику, где в любую погоду свистят сквозняки, перешагнуть через двор в соседний корпус. Железный мостик — единственное место в отеле, откуда в безоблачные ночи действительно бывают видны голубые звезды. Над крышей содрогается красное небо. Сквозь створки ставен оно полосует темноту комнаты красными царапинами.

Лежа на постели, Милютин хочет заплакать, как тогда — в номерах «Большого подворья», но мешает незнакомая полнота мурочкиной груди, мурочкиных ног, красная царапина на ее плече, лязг трамвая. Мурочка шепчет, прижимаясь к Милютину:

— Мы с тобой жуткие неврастеники...

Через час она садится на постели, спустив ноги на коврик и нащупывая туфли в темноте:

— Завтра наша лавочка будет открыта до поздней ночи: «все для встречи нового года». Так что даже не придется ревейонировать... Лечу домой. Мой муж до жути ревнив, хотя я не подаю никакого повода...

В ресторанах, в кафе, в ресторанчиках развешивают бумажные гирлянды, китайские фонарики, готовятся к завтрашним торжествам.

Réveillon! Réveillon! Réveillon!

Генерал-майор Груздевич произнесет здравицу в честь государя императора; шофер Гриша до утра просидит в машине перед подъездом ресторана Корнилова и проглотит стакан водки, вынесенный по заказу Горфункеля официантом Еремеевым, бывшим корнетом; в особняке биржевика Мерсье танцовщица Люка, за полтораста франков, будет танцевать умирающего лебедя и галоп амазонки, сразу после шампанского, — ее ласковые, невесомые ноги полетят над паркетом, пугливая улыбка — над белизной скатертей, пластронов и женских плеч. Всю ночь на улицах будут верещать свистульки и трещотки, а на рассвете Милютин увидит на тротуаре смеющихся девушек: у них рафаэлевские прически, широкие плечи спортсменок и бедра изнеженных юношей; их походка легка, крылья видимы невооруженным глазом в предутреннем мерцании бульваров. Прозрачные, едва окрашенные крылья коснутся при встрече Милютина и, потеряв свою плотность, пройдут сквозь него, оставив в его теле, в сердце, в горле сладкий, надолго сохраняющийся вкус. Что ж, эту сладость, пожалуй, можно назвать влюбленностью. Влюбленность в кого? В никого... Не заговаривайте больше со мной об этом, — каждое ваше слово станет моей болью.

Умоляю вас, прошу вас: замолчите...

7.

Новогодняя речь генерала-майора Груздевича, произнесенная на банкете в ресторане «Березка»:

— Господа офицеры! Я рад, что обращаюсь сегодня к вашей дружной семье. Я рад, что обращаюсь к русским, ушедшим от ужаса, террора, от 2-3 марта 1917 года из России 1914 года, а не к социалистам, интернационалистам, не к большевикам, не к участникам измены, предательства и подлости, бывших на Руси во время войны русского народа со своими внешними и внутренними врагами, не к революционерам и ни к кому от революции исходящих, — здесь у этих нет ни родины, ни отечества, ни своего народа. У этих — самость, тщеславие, честолюбие, продажность и подлость ко всем и ко всему, чем человек отличается от скота! (Аплодисменты). Здесь нет начал развития своего «я» и здесь нет основ усовершенствования человечества. Я ставлю печать на лоб Временного правительства из слов, взятыми из отчета 5 марта 1917 года заседания крамолы под именем бывшей Государственной Думы, и в них истинный смысл 2-3 марта 1917 года — хотите, 23 февраля 1917 года, хотите, 1 ноября 1916 года — по почину Государственной Думы возникло правительство, которого ни один народ в мире во всей своей мировой истории, во всех своих исторических событиях, по всем своим историческим дням, никогда не имел столь подлого, пошлого, сволочного — от русского слова «сволок», волочиться — и столь глупого, как Временное правительство от измены и предательства, бывшего на Руси. Я не признаю никакой преемственной верховной власти у так названного самозванно Временного правительства, ибо отречение государя императора Николая II от 2 марта уничтожается его же вторым отречением от 3 марта, переданного государем императором Николаем II своему начальнику штаба верховного главнокомандующего всеми морскими и сухопутными силами государства и переданных на театре военных действий свободно, — я подчеркиваю слово «свободно» — во ставке во про-

тивовес ареста его во Пскове, учиненным над ним, как разработанного шантажом в вагоне под страхом смерти всех его больных корью детей. Господин Алексеев, исполнявший должность начальника штаба верховного, получив второе отречение, прямо уничтожившего первое, не исполнил распоряжение императора и царя и своего верховного и отречение утаил от армии и от народа с ведома крамолы, называемой Государственной Думою. Кроме того, ясно для каждого честного, что в момент своего отречение великий князь Михаил Александрович был не в полном уме и не тверд в своей памяти, ибо по отчету читается, что он «схватился обеими руками за свою больную голову» и так и просидел. Но с другой стороны, ввиду отсутствия посторонних свидетелей, по закону нет доказательств тому, что этот бандитный поступок с якобы подписью Михаила Александровича — нет доказательств о собственноручности — не есть акт, и потому вся эта история ничтожна! Действие Временного правительства и условного — для и до — с первых же дней было предательское, изменническое и подлое в отношении России 1914 года, победы и славы, заготовленной лично императором и царем. Отсюда все их указы, законы, назначение — ничтожны есть и позорны есть! (Звон посуды и возгласы одобрения). Временное правительство добровольно передало власть коммунистам и уголовщине, и по действительности большевики не есть преемники верховной императорской власти, ибо настоящее свободное отречение царя верховного осталось в кармане Алексеева... Я охуляю каждого от революции, на Руси бывшей во время войны моего по моему происхождению русского народа с внутренними и внешними врагами, находящегося вне России 1914 года, среди ушедших и не считаю для себя приемлемым никого и ничего, кто и что исходит от крамолы. Я охуляю революцию без всяких-яких, как русский о русских делах! Я обращаюсь ко всем русским, ушедшим из России 1914 года, убежавших от измены, трусости, от социалистов и большевиков, от провокации, шантажа и гнили, и, вовторых, кто не есть среди гнили и мрази. (Голоса: правильно!) У вас нет никого, кто есть со значением. Типы от

партий, групп, организаций, гражданских каст — провалились и лопнули, как мыльные пузыри. Но не как мыльные пузыри оставили нам, русским, свое наследство, свои следы, а как злейшие враги, как черные пятна из черной Руси, как красные кровавые пятна 35 миллионов навеки уснувших русских сынов. Я напоминаю документально вам всем русским все пережитое вами, и, вспоминая, вы найдете ту картину своей жизни, где, теряя терпение от политических, партийных, пореволюционных самоблоготворений, заставят вас, наконец, забыть пассивную стадность и заговорить, как личности своего живого народа! (Звон разбитой тарелки, голос: виноват, ваше превосходительство!) Господа офицеры! Почему вы, разбирая миллион миллионов пошлых, мелочных, вздорных вопросов, не хотите подумать: а где ваш русский голос? Смешны какие-то пузыри от измены и предательства, какие-то для меня малопочтенные типы! Откуда сие? От актов о разделе России? Ни в коем каке! Разве вы, ушедшие, забыли, как Временное правительство раскрало все капиталы, все благо империи русского народа и цинично объявило, что казна пуста? Merde, alors! — извиняюсь за выражение, фу ты, Господи! (Смех, голоса: правильно! Ça va, alors! Браво!)... Прошли года. Все изменилось: подданство, трактиры, театры, военные, портные, сапожники, техники, доктора, политиканы, благотворители за счет присвоения. Вымирают и безусловно вымрут члены самоизбравшего себя Комитета с председателем, который во своих воспоминаниях, изданных у социалиста-революцюнера во имя братского рукопожатия, пишет на страницах грязь на умную, честную русскую женщину, жену и мать царицу, императрицу Александру Феодоровну, натуру цельную во своей искренней целости и русского православия. Я говорю на грязный намек, на полуоткрытую дверь в кабинете, как «человек» из людской в кавычках и людской неважного барина и кто докажет, что сказанное «человеком» в кавычках — не ложь! Какой цинизм над нами, ушедшими от 2-3 марта 1917 года! У нас нужда во всем, а есть ноль... Я утверждаю, что весь наш сегодняшний верх подтасован по плутне и кооптации, не отвечая нашему рус-

скому быту, богослужению, языку, народу и русской земле, что русская молодежь учится у учителей из подлости исходящимся, что в России нет русского народа, а есть народы, населяющие Россию. Да здравствует русская Россия, мать неделимая 1914 года от 2-3 марта 1917 года, да здравствует царствующий дом и доблестное русское воинство, а также милейшая наша хозяюшка гостеприимной «Березки», Татьянушка Фаддеевна! Ура! Таня, Таня, пей до дна, пей до дна, пей до дна...

Аплодисменты, малиновый звон стаканов, после чего руководящая роль на банкете переходит к дирижеру великорусского оркестра балалаечников.

8.

1 января.

В особняке финансиста С., находящегося в деловой отлучке, была устроена встреча нового года. Вскоре гости и сама хозяйка были совершенно пьяны. Тринадцатилетний ее сын Люсьен, возмущенный поведением матери, заявил, что сам мертвецки напьется, если она не прекратит попойку. Пьяная женщина ответила, что предпочтет увидеть сына мертвым, чем пьяным. Тогда Люсьен подошел к шкафу, достал револьвер и, подавая его матери, сказал:

— В таком случае, стреляй!

Мать выхватила револьвер и выстрелила в мальчика, убив его наповал.

2 января.

Оперная артистка Л., недовольная дирижером В., во время антракта перерезала ему горло ножницами. На пути в больницу дирижер скончался. Дирижировал оркестром заместитель В. Артистке Л. дали допеть свою роль до конца, после чего она была передана в руки полиции.

Студент Жан У. спустился из своей комнаты в кухню, где мать приготовляла ужин, схватил железные щипцы от плиты и начал бить мать по голове. На крик прибежал отец. Жан снял со стены ружье и выстрелил в отца. Затем отец был добит прикладом. Убедившись, что родителя мертвы, Жан достал из конторки отца 130 фр., надел свой лучший костюм, сел на велосипед и отправился в ближайшую танцульку.

3 января.

Архитектор М. выстрелом из револьвера тяжело ранил свою жену и убил наповал десятилетнего сына, после чего кастрировал себя бритвой. В страшных мучениях убийца был доставлен в госпиталь, где ему оказана первая помощь.

Варшавский палач подал жалобу прокурору, требуя с государства возмещения убытков, понесенных им вследствие объявленной амнистии.

В квартире провизора Р., владельца аптеки, найдена повешенной его шестилетняя дочь Полина. Шелковая лента, на которой висел ребенок, была тщательно завязана бантом. На той же ленте висела любимая кукла Полины. Никаких следов насилия на теле девочки не обнаружено, но живот и спина куклы изрезаны перочинным ножом.

4 января.

В квартире гаражиста Е., в спальной комнате, обнаружена его молодая жена, прикованная к стене железной цепью за ногу. Комната обставлена с возможным комфортом. Женщина провела на цепи около четырех лет.

Шофер О., итальянский выходец, поспорив с приятелем, каменщиком Г., из-за правил биллиардной игры, пробил ему череп биллиардным шаром; каменщик умер, не приходя в сознание.

5 января.

Булочник И., узнав, что его теща, 72 лет, продала принадлежавший ей билет свипстейка, в припадке ярости убил старуху топором, изрезал ее лицо кухонным ножом и вспорол живот. Доставленный в комиссариат булочник заявил, что поступил вполне правильно, так как поступок тещи лишал его возможного наследства.

6 января.

Негр Ф., приговоренный к смерти, был казнен в газовой камере. Около двадцати свидетелей наблюдали казнь сквозь специальное окно. В течение 5 минут негр бился в кресле, к которому был привязан, и лишь через 12 минут наступила смерть.

7 января.

Вдова полковника В., найдя в сундуке у кухарки свою простыню, зашла в кухню и утюгом размозжила кухарке голову.

8 января.

В Ревеле приговоренному к смерти убийце Ч. виселица была заменена по его желанию самоубийством. В присутствии официальных лиц Ч. выпил чашу с ядом (цианистый кали 0.005 грамм) и свалился мертвым.

9 января, 10 января, 11, 12... 15... 20... 30.................................
....

9.

Заседание продолжается. Оно длится даже слишком долго, судя по количеству окурков, переполнивших пепельницы и блюдца из под чайных чашек. О продолжительно-

сти заседания свидетельствуют также стопы исписанной, исчирканной бумаги, разложенной перед его участниками, и та излишняя нервность и говорливость, которая часто овладевает людьми чрезмерно утомленными и уже не могущими замолчать в силу развившейся инерции. Говорят все сразу, говорят преувеличенно громко без всякой необходимости, так как никто друг друга не слушает и вряд ли вникает в смысл собственных слов. Вопрос остается неразрешенным. Предположений делалось такое множество, что самый вопрос, постепенно дробясь, давно расчленился на бесконечно малые частицы, которые, развиваясь самостоятельно, начинали в свою очередь распадаться на отдельные организмы, по закону деления клетки. В конце концов, расстояния между ними стали настолько велики, что участники заседания, когда-то выйдя из одной точки, говорили теперь о совершенно несхожих и не связанных между собой вещах. Охрипший Горфункель закрывает вышеприведенный дневник, отбрасывает его в сторону и произносит:

— В результате — зеро! Элементы имеются, но ничего пикантного нет.

Тогда самый маленький, самый последний из заседателей, Жиркинд, заявляет:

— Может быть, и два зеро, но только не у Жиркинда! Сценарий найден абсолютно гениальный. Если вы еще способны, я почитаю вам мое экспозе:

ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ

Молодой миллионер Морис де Бовиль, весело проведя вечер в компании друзей, решает вернуться домой пешком, так как врачи предписали ему прогулки. Но он ненавидит ходить по городу и, чтобы избежать соблазна, заранее отпустил своего шофера и не взял с собой денег. Друзья не верят решению Мориса и насильно кладут в его карман стофранковую бумажку. Миллионер, тем не менее, отправляет-

ся пешком. По дороге, на мосту, он замечает девушку; она скинула шаль и хочет броситься через перила. Морис де Бовиль успевает схватить ее за руку:

— Остановитесь! Что толкнуло вас на такой шаг?

— Я очень несчастна. Я разочарована в людях. Я ничего не встречала с их стороны, кроме обмана.

— Одумайтесь! Вы молоды и прекрасны, — произносит миллионер, вспомнив о стофранковом билете, — я буду вашим другом. Завтра вы зайдете ко мне, вот мой адрес. Я достаточно богат, чтобы помочь вам в жизни. Не откажитесь принять пока эти деньги — все, что у меня есть при себе. —

Повторив свой адрес, Морис де Бовиль прощается с девушкой и продолжает свой путь. Наутро, за чашкой кофе, Морис де Бовиль просматривает газеты. Прежде всего, он интересуется скачками и театром, затем Лигой наций, но вскоре ему попадается на глаза заметка происшествий: неизвестная девушка, по описанию схожая со вчерашней неудачницей, бросилась с моста и была извлечена из воды в бессознательном состоянии. Морис де Бовиль недоумевает, Морис де Бовиль в отчаянии. В эту минуту в комнату врываются его друзья, чтобы узнать, как он доехал вчера до дома.

— Я не доехал, а дошел пешком, — отвечает Морис де Бовиль.

— Жаль, — смеются приятели, — мы положили в твой карман фальшивую бумажку, чтобы шофер такси отвез тебя в комиссариат.

Морис де Бовиль спешит в приемный покой. Недоразумение разъясняется. Девушка, оказавшаяся племянницей русского царя, бежавшей от террора, спасена. Мощный Линкольн уносит счастливых любовников к Лазурному берегу. Поцелуй...

— Чтобы очень гениально, я бы не сказал, — говорит Горфункель, — но на бесптичье и Жиркинд соловей..

10.

Мурочка плакала слезами горечи и умиления: так плачут женщины, читая «Анну Каренину» и узнавая в ней собственные черты, собственные чувства. Тревожная судьба племянницы царя, бежавшей от террора, казалась Мурочке ее личной судьбой, — ведь для того, чтобы коснуться людских сердец, для того, чтобы вызвать слезы — совсем не надо быть Толстым или Бальзаком, достаточно быть Жиркиндом. Женщины плакали в черной зале, и когда зажегся свет, они еще держали платки у глаз и сочувственными, понимающими взглядами встречали друг друга. Племянница царя так же любила и так же заблуждалась, как все эти женщины, как Мурочка, как Анна Каренина; произведение Жиркинда было даже полнее и человечнее толстовского, потому что страдания царской племянницы вознаграждались заслуженным счастьем: через всю человеческую жизнь проходит мечта о награде — от школьного похвального листа до блаженства в загробном мире.

— Ты плачешь? — спросил Мурочку Сережа Милютин.

— Ничего подобного! — зашептала она, — вас это раздражает?

— «Одни я в мире подсмотрел святые, искренние слезы».

— Тип! — вздохнула Мурочка и вспомнила, что заплатила за Сережин билет.

Мурочка плакала, видя себя на экране, плакала над своей судьбой, как плакали другие женщины в черной зале кинематографа, и их слезы падали чистой монетой на текущий счет Жиркинда в Лионском кредите. Мурочка тихонько всхлипывала, вспоминая свою жизнь. Разве старая кухарка в старом тульском домике не говорила Мурочке, когда Мурочка была еще гимназисткой:

— Грудки у вас врозь глядят: с мужем врозь жить.

Смешная, глупая старушка, смешные, глупые слова! Мурочка тогда весело хохотала над ними...

Когда гимназистка седьмого класса узнает, что из-за нее стрелялся мужчина, она тотчас решает бросить гимназию и поступить на драматические курсы. На драматических курсах, в Москве, сначала все шло складно, но вскоре случилась серьезная неувязка с Федрой, и Мурочка, не предупредив родителей, уехала в провинцию с актером Самарцевым: Харьков, Таганрог, Елисаветград, Бендеры, рукоплескания, цветы, попойки, кокаинный угар, ночь с итальянским певцом Карлони, бегство с антрепренером Веригиным на Кавказ, ссоры, попойки, головная боль, ночное бегство антрепренера Веригина с Кавказа и одинокое пробуждение Мурочки в номерах «Континенталь» в Баку. Письма к маме и к папе, знакомство со счетоводом нефтяных предприятий Нобеля, прогулки на катере по заливу, свадьба, квартира в три комнаты, мир.

Счетовод Колмазнин, Аким Филиппович, веселый, румяный и рыжий, возвращался домой к 6 часам вечера, почти всегда с приятелями, выпивал три рюмки водки за обедом, рассказывал малороссийские анекдоты и пел малороссийские песни:

А чья та хата заметается,
А чья та дивчина заплетается,
Ой, маму, маму, заплетается...

Познакомившись с Мурочкой, он пел малороссийские песни во время катанья на лодке или поездок на парном фаэтоне за город. Лукаво щуря глаз, прищелкивая языком и пальцами, он пел не потому, что ему было весело, но полагая, что пенье самца привлекает к нему самку. Улыбаясь, покачивая головой в такт песни, Аким Филиппович оперялся, его рыжие волосы приподымались, плечи и руки вздрагивали наподобие крыльев. Женившись, Аким Филиппович продолжал петь, находя, что пенье служит выражением благополучия и довольства. Через год у Мурочки родился сын, роды протекли легко, без осложнений — всего какихнибудь три часа страданий, и на следующий день Аким Филиппович исхлопотал прибавку к жалованью. В течение

месяца Аким Филиппович и Мурочка наперебой рассказывали друзьям и знакомым, как изумительно легко и без осложнений появился на свет их младенец, весом в 11 фунтов, как совершенно пунктуально пошли воды, как восхищалась акушерка, оказавшаяся на редкость милым человеком и уверявшая, что ей решительно нечего было делать и что ребенок сразу же понял, как нужно брать грудь, и что ни в коем случае не следует нанимать кормилицу, так как молоко матери является самым здоровым питанием, особенно, когда молоко такого высокого качества, как у Мурочки. В присутствии знакомых дам Мурочка с гордостью расстегивала блузку и кормила при них ребенка, потом укладывала его на животик, а когда появлялась отрыжка, заявляла:

— Теперь программа окончена. Теперь нам пора спатки.

Аким Филиппович, обнимая жену, говорил:

— Вот это — моя Мурочка.

Затем, указывая на комнату, прибавлял:

— А это — наш муравейник. А это, — Аким Филиппович брал на руки сына, — это — наш му-му-му-Мураш!

На Пасху приезжала из Тулы мурочкина мама; к Петрову дню приезжал мурочкин папа — настоятель церкви святого Преображения под Тулой; на Рождество Мурочка с сыном ездила в Тулу к родителям, а к новому году Аким Филиппович получил повышение и был переведен в экспортный отдел. Весной Колмазнины уехали на Минеральные Воды; летом была объявлена война, и Мурочка с сыном вернулась в Тулу, в дедушкин домик у Киевской заставы. Через год мальчик умер от дифтерита; еще через полтора года нагрянула революция; еще через год мурочкин папа стал торговать лепешками на Соборной площади; в 20-м году приехал с Кавказа Аким Филиппович; в 22-м году поступил на службу в отдел нефтяной промышленности и сшил толстовку; в 26-м году его командировали в Париж, в Нефтесиндпкат. Мурочка ходила в большие магазины, а по субботам — в кинематограф — смотреть картины из жизни безукоризненно сшитых фраков. В 29-м году у Акима Филипповича произошла серьезная неувязка с бухгалтерией, он

был отозван в Москву для объяснений, но в Москву не поехал и остался в Париже — невозвращенцем. К этому времени на голове Акима Филипповича уже поблескивала лысина; он все еще напевал малороссийские песни, но чаще — не пел, а насвистывал. В 30-м году истощились последние сбережения, и Аким Филиппович решил впервые заглянуть в русскую церковь. Через полгода в русской церкви к нему постепенно привыкли, но сторонились его, называя втихомолку «оком Москвы»; впрочем, в соседнем русском ресторанчике он успел уже несколько раз сыграть в шашки с отцом дьяконом и с высоким, худощавым господином, которому все говорили «князь» и к которому служащий ресторанчика подбегал с такой поспешностью, как будто ноги пытались произнести скороговорку. К тому же времени у Мурочки износились парижские туалеты, она занялась сначала изучением шляпного дела, потом — корсетного, потом — кройки и шитья, потом — косметики и, наконец, поступила кассиршей в бакалейную русскую лавочку, принадлежащую преимущественно Семену Семеновичу Кудрявцеву и — в третьей доле — мадам Песис.

Глупые предсказания тульской старушки сбылись... Но может ли быть иначе? Недаром мадам Помье, что покупает в русской лавочке зернистую икру, признавалась Мурочке:

— Я восемнадцать лет замужем, нашему сыну — шестнадцать лет. Мой муж — самый дорогой и близкий мне человек. Я взяла любовника только потому, что жить с мужем теперь представляется мне преступлением: как будто я отдаюсь моему отцу, брату или сыну! Морально я слишком здоровый человек — croyez moi! — чтобы решиться на такой безнравственный поступок.

Мадам Помье подарила Мурочке к празднику две пары совсем новых чулок. Милая мадам Помье! Она так подкупает своей искренностью и так заботлива к мужу: он обожает зернистую икру.

—————

11.

Идут дожди. Дожди идут изо дня в день. Скользят на поворотах автомобили, не слушаясь тормозов. Над черной мостовой расплываются кляксами фонари. В мастерских художников X, Y, Z протекают потолки, на полу расставлены тазы, горшки, кастрюли; стены, матрасы, подушки набухают от сырости; одеяла и простыни становятся похожими на компрессы. Парижане ходят в кинематографы, знают всех актеров — старых и молодых, трагиков и комиков, блондинов и брюнетов, курносых, прямоносых, горбатоносых, знают их прически, их движения, профили и затылки, голоса и походки, свадьбы, разводы, вкусы, оклады... Жена художника Турчанского уехала в Америку с контролером пароходной компании и даже не прислала открытки. С легкой мурочкиной руки Сережа Милютин разносит в чемоданчике масло, творог и сметану по русским квартирам. На горные курорты съезжаются веселые лыжники, англичанки и манекены модных домов. По утрам, в комнатах Горфункеля, гудит электрический пылесос, горничная Мэри (Марья Васильевна Струнникова) чистит ковры, усаживает по углам диванов и кресел, среди пестрых подушек, матерчатые куклы Пьеро и Пьеретты, маркизу, субретку, Жозефину Беккер, перетирает книжные полки, на которых расставлены ежегодные справочники больших магазинов — Лувр, Прэнтан, Бон-Марше, Лафайет и двухтомный немецкий труд о способах супружеской любви:

DIE VOLLKOMMENE EHE

Eine Studie ueber ihre Physiologie und Technik mit sieben mehrfarbigem Tafeln im Anhang.

По субботам, сидя в ванной, Горфункель вызывает к себе горничную Мэри:

— Потрите мне со спины, — просит он и становится на четвереньки.

Рабочий день Фанни Браиловской начинается заготовлением деловых писем Горфункеля, кончающихся одной и той же фразой: «незамедлительно пришлите мои комиссионные». Исключение составляют письма особого назначения, рассылаемые в предпраздничные дни:

Ее Величеству
Королеве Румынской

Вспоминая с восхищенной благодарностью милостивую беседу, коей Ваше Величество меня удостоили, шлю Вашему Величеству лучшие пожелания к наступающему Новому Году.

Глубокоуважающий Вашего Императрического Величества Матвей Горфункель.

Горфункель никогда не встречался с румынской королевой, но, ведь, с другой стороны, и королева не может помнить всех, кого она удостаивала милостивой беседой...

По окнам льются дождевые потоки. Фанни Браиловская стучит на машинке. Вскоре после того, как новый резиновый поясок был куплен, обнаружилась необходимость в каракульчевой шубке труа-кар. В полдень, когда, по обыкновению, Горфункель еще лежал под одеялом, Фанни Браиловская, подавая ему на подпись очередные письма, заговорила о шубке.

— A la fin de la mois, — сказал Горфункель, — раздевайтесь!

Фанни Браиловская разделась, но a la fin de la mois шубки не получила.

— Смешно! — удивлялся Горфункель, — зачем вам шубка, если идут дожди? Я лучше подарю вам зонтик.

Но зонтика тоже не было. Однажды, в апреле, Фанни Браиловская принесла Горфункелю для подписи очередное письмо:

Ее Величеству
Королеве Голландской

Исполненный радостных воспоминаний и признательности за радушный прием, оказанный мне Вашим Величеством, шлю Вашему Величеству всепреданнейшее поздравление со Светлым Христовым Воскресеньем.

Не успел Горфункель дочитать письмо до конца, как Фанни Браиловская упала на кровать и, зарыдав, воскликнула:

— Мама, бедная моя мамочка, если бы ты знала!

Горфункель взглянул на секретаршу с удивлением, обнял ее за плечи и произнес ласково дрогнувшим голосом:

— Вы — шармантный ребенок, Фанничка! Разденьтесь в последний раз, и завтра вы будете иметь каракульчевую шубку, несмотря на сезон...

Однако завтра случилось событие, совершенно непредвиденное. Горфункель ворвался в контору «Геркулес-фильм». Он ворвался в свой кабинет, когда там происходил следующий разговор:

— Отсекните мне голову, если вы не тот самый Гринберг!

— Так я вовсе не Гр*и*нберг, а Гр*ю*нберг.

— Смешно! Я же и говорю, что вы Гринберг.

— Вы говорите — Гринберг.

— Но я же говорю «и» не как «Исаак», я говорю «и», как «ри», как «улица»!

Стукнув по столу, Горфункель крикнул:

— На черта мне нужны ваши принципиальные споры, когда мы все пропали! Этот прохвост не дал мне по морде!

В общем замешательстве Грюнберг всплеснул руками:

— Как? Он не дал вам по морде? Но это — полный скандал, господа!

— Скандал? Факт, а не скандал! — маленькие ручки Горфункеля прыгали над столом и под столом и в дальнем углу комнаты и у самых глаз Грюнберга. — Вы знаете мой темперамент, я подобрал свидетелей, я сделал все, чтобы

он дал мне по морде. Но он не дал мне по морде и теперь будет ездить на моей шее, как на стуле!

Трудно с точностью установить, о ком шла речь: был ли то человек, не так давно раздетый Горфункелем, но уже успевший снова одеться с иголочки, был ли то самый маленький, самый последний Жиркинд, недосягаемо поднявшийся на дрожжах миллионера Мориса де Бовиля и спасенной им племянницы русского царя, был ли то, наконец, человек, здесь еще не упоминавшийся, — вопрос этот навсегда останется загадкой. Вернувшись домой, Горфункель призвал к себе секретаршу Фанни Браиловскую, шофера Гришу, горничную Мэри и мадам Бушуеву, кухарку за повара.

— Попили моей кровушки! — заявил им Горфункель, — с меня довольно типов! Я не сентиментален. В субботу можете убираться на все четыре стороны, прямо в Лигу наций!

На следующий день в вечерних газетах появилась заметка:

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Вчера, в 9 ч. вечера, автомобиль известного кинематографического деятеля, г. Горфункеля, управляемый русским шофером Григорием Тимощенко, попал под автобус линии AS. Григорий Тимощенко был убит на месте; г. Горфункель, по счастливой случайности, отделался легким испугом.

12.

Мурочка вернулась домой в три часа ночи. Аким Филиппович поджидал жену, не ложась спать. Он молча смотрел на нее, следил за ее движениями, за тем, как она, напевая из «Тоски», вешала пальто на плечики, вставляла распиналки в туфли, и вдруг проговорил:

— Опять?
— Опять.
— Где ты шлялась до трех часов ночи?
— Во-первых, я не шлялась; а во-вторых, я была в гостях у мадам Песис.
— До трех часов ночи?
— До трех часов ночи. Вы же меня в синема не водите? Знакомых всех разогнали! Может быть, прикажете штопать носки?
— Не смей!
— Нет, смей! Вы что-нибудь сделали для нашей красивой жизни?
— Я женился на тебе! Дура!
— Он женился на мне! Женился! Женился!

Мурочка страшно захохотала и, повторяя: «Вот тебе! Вот тебе!», стала сбрасывать с комода книги, шкатулку, семейную группу, снятую в бакинской фотографии «Феникс» в первые дни замужества. Не переставая хохотать, Мурочка вынула из ящика и швырнула к ногам Акима Филипповича альбомчик, в котором когда-то решила вести свой дневник. Мурочка называла альбомчик «самой дорогой вещью», хотя в нем имелись всего две записи — первая, сделанная рукой Мурочки и относившаяся к Акиму Филипповичу:

> «Наконец-то я встретила на моем пути
> Человека».

Вторая — рукой Акима Филипповича:

> В минуту жизни трудную,
> Когда желудок пуст,
> Я ем индюшку чудную
> Авек де ла капуст.
> Есть сила благодатная
> В улыбке губ твоих!
> Индюшка плюс лобзание
> Исторгнули сей стих.

Верхние жильцы застучали в потолок, вероятно, каблуком ботинка, стоявшего около кровати.

— Тише, дура! Ты выселишь нас из квартиры.

— Хочу и буду кричать, пускай выселяют! Мне 38 лет! Ты обещал одеть меня, как куколку, а сам раздел, как прачку! Даже мадам Песис удивляется. Я мечтала о сказке, а что ты дал мне? Газовую плиту? Драные носки? Я хочу жить, я еще могу нравиться...

— Типичный ретурдаж!

— Идиот и жуткая бездарность.

Мурочка затихает. Молча она раздевается, ложится в постель. Тишина. Аким Филиппович поднимает с пола семейную группу, ставит ее на прежнее место и нагибается за альбомчиком. Альбомчик под стулом похож на раненую птицу. Тишина. Из соседней квартиры доносится храп и бормотанье: левый сосед всегда бормочет во сне. Чуть слышно гудит: не то — электричество, не то — водопровод, не то — центральное отопление. Гудит, но по иному — приливами, отливами, — ночной Париж за окном... Нет, центральное отопление отпадает: сейчас 2-ое мая, и уже не топят больше двух недель. Вероятно — электричество, что-нибудь в счетчике. А, может быть, и топят: ведь в умывальнике горячая вода. Топят бельгийским антрацитом, а нефтью, пожалуй, было бы выгоднее. Мазутом. Вчера по случаю первого мая по улицам растянулись процессии. Пели Интернационал, несли красные знамена, подымали кулаки. Текла шершавая черная масса, Кулаки казались маленькими головами на очень длинных и тонких шеях — что-то жирафье. Странное чувство: надо было сделать большое усилие, чтобы не сойти с тротуара и не влиться в ряды, не вытянуть жирафью голову и не запеть — и петь, и петь — Интернационал, хотя бы по-французски!

«C'est la lutte finale...»

Удивительное чувство. Аким Филиппович — невозвращенец. Его выбросили к чертовой матери. Что же, собственно, происходит? Если где-то на захолустной узкоколейке

вагон сошел с рельс и расщепился, — железнодорожное сообщение страны не прерывается. Дерево, доски пойдут на слом, в богадельню, в церковь, на подтопку, на выделку шашек; но металлические части — оси, колеса — могут еще пригодиться, их ведь можно подвести под другой вагон и снова поставить на рельсы. Что же, в самом деле, происходит? Гудит водопровод. Государства вооружаются в мечтах о разоружении. Кабинетные ученые совершенствуют орудия смерти. Пацифисты подготовляют войну. Воинствующие вожди призывают народы к миру. Аким Филиппович играет с дьяконом в шашки и в подкидного дурака и, ложась спать, почесывает икры и поясницу. С Мурочкой творится что-то неладное, и она, по существу, права; хорошо еще, что — мадам Песис, а не какой-нибудь прохвост-сифилитик. Конечно, Мурочка уже не та, что двадцать лет назад, но и теперь ее полнота, ее крупные груди или, например, ноги — особенно ноги... Наверху, над потолком, скрипит кровать, потом льется вода в умывальнике. Кашляет правый сосед. Аким Филиппович берет карандаш и пишет в альбомчик:

> Мурочка, глупыш, прости! Придет время, я одену тебя, как куколку. Постарайся заснуть, утро вечера мудреней.
>
> Твой Кима.

Написав, он кладет альбомчик в ящик комода. Мурочка, повернувшись к стене, всхлипывает и шепчет:

— Замучили...

Ее белье хранит запах милютинских папирос.

13.

Ночью на лестницах метро, подложив тряпки под головы, маются нищие старики. Они не спят, они только похожи на спящих, и глаза их закрыты лишь потому, что тя-

жесть век уже стала непосильной. Бродяги и нищие старики изнемогают от бессонницы; по ступеням стекает дождь...

Шофер Тимощенко не попал на кладбище: он попал в анатомический театр. Студенты разрезали его тело на части, как быка в поваренной книге. Над глазами трудился счастливый Шарль Самсон, закадычный друг художника Райкина. Уже более двух лет Шарль Самсон работал над удивительной книгой, озаглавленной:

ЗРЯЧАЯ СЛЕПОТА

Старый профессор медицинского факультета, знаменитый окулист Леман, прислушивался к словам своего ученика, чувствовал стройную последовательность его мысли, но основная предпосылка, главный стержень этой мысли оставались для него непонятными. Полушутя и полунедоумевая профессор Леман называл Шарля Самсона «художником».

«Подобно людям, лишенным слуха, существуют люди, не умеющие видеть, хотя обладают, по общепринятому в науке мнению, вполне здоровым зрением. Совершенное развнтие глаза заключается не столько в силе и точности его *отражающей* чувствительности, сколько в *контролирующих* и *фильтрирующих* видимый мир способностях. Устаревший идеал совершенно развитого глаза — глаза мореплавателя или стрелка — должен быть подвергнут пересмотру» — писал Шарль Самсон в первой главе своей книги. Профессор Леман старается вникнуть в новую запись Шарля Самсона, сделанную по поводу глаз шофера Тимощенко:

> № 276. Вероятнее всего — человек физического труда. Возможно, техник. Или военный. Нормальное зрение. 80% слепоты.

По книгам профессора Лемана воспитывались поколения ученых специалистов. Его зрение прекрасно, он не носит очков (Шарль Самсон близорук, 3,5 диоптрии). Профессор Леман в совершенстве изучил глазную машину, уход за ней, починки, но сможет ли Шарль Самсон объяснить учителю, что его управление этой машиной, то есть — умение видеть, бедно и ограничено? В умении видеть знаменитый профессор беспомощен по сравнению с художником Райкиным, рядом с ним — профессор Леман слепец. Невидимые катаракты таких глаз стремится обнаружить Шарль Самсон и найти средства к их удалению. Профессор Леман представляется своему ученику примером зрячего слепца. В самом деле, разве он видит, как, несмотря на поздний час (когда цвета, погашенные чернотой, теряют определенность) голубая краска продолжает обогащаться, приобретая все большее разнообразие оттенков? Теперь уже можно сказать с некоторой долей достоверности, что голубое сияние ночи, ничем не замечательной, безлунной, дождливой и едва освещенной заплаканными фонарями, не является естественным отражением, отсветом внешних источников света, как то казалось в начале главы; необъяснимое сияние может быть оправдано лишь внутренним перерождением действительности в цвет, независимо от часа дня или времени года.

Нищие старики, средневековые стены церкви, промчавшийся автомобиль — голубеют, заражая цветом соседние предметы. Автомобиль оставляет за собой синюю тень, застывающую в голубом пространстве, как стены, как старики, томимые бессонницей. Пешеход, вступив в лазурное, бирюзовое, серо-синее цветение, вдруг становится медлительным, как бы он не торопился к намеченной цели, и с трудом передвигает ноги, напоминая собой водолаза, идущего по морскому дну. Движения приостанавливаются, человеческие лица утрачивают выпуклость, голоса — беззвучны и настолько неузнаваемы, что когда неожиданно доносятся слова о том, что девичья грудь так же привлекает к себе губы, как несгораемый шкаф — грабителя, — то сразу нельзя догадаться, что это господин Вормс обращает-

ся ко вновь поступившей к нему машинистке. Точно так же известие о смерти в парижской городской больнице русского художника S (одна из букв алфавита) и погребении его на бесплатном кладбище воспринимается равнодушно и безболезненно, как укол, сделанный под местным наркозом. Через три года останки художника S, согласно установленным правилам, будут вырыты из могилы и брошены на свалочное место, могилу же вспашут заново и отведут на три года под другого покойника. Деревянный крест, на котором выведено имя художника, будет своевременно перекрашен. Араб Саид Бен Аршан зарыт в общую могилу казненных правонарушителей, и так как тела их обезглавлены, на этой могиле тоже нет ни крестов, ни возвышенности, ни иных обозначений: она утрамбована и сравнена с землей, — дальний угол бесплатного кладбища в одном из парижских предместий. Ходят слухи, будто перед смертью художник выразил желание покоиться на тихом беклиновском островке — на Сене, близ Аньера, — где помещается собачье кладбище, елейное, цветущее, благоуханное. Говорят, будто художник даже точно указал место, наиболее ему приглянувшееся: между «Принцем Колибри» и «Фру-Фру IV-ой», но последняя воля не всегда бывает исполнима.

Равнодушие к событиям жизни, вызванное ее перерож дением в цвет, незаметно и неощутимо разрастается в радость, не имеющую уже никакой связи с событиями жизни. Намечающаяся радость прямо относится к созерцанию цвета и грозит постепенным исчезновением действия из повести. Даже в зачаточном состоянии эта радость мешает разбираться в частностях. Усталой, замедленной походкой пересекает мостовую ультрамариновый призрак человека, чем-то памятный и знакомый; в первую минуту кажется, что это Иван Константинович Данько-Даньковский возвращается с диспута, мысленно произнося несказанную речь и, лишь внимательно всмотревшись, удается установить, что не Данько-Даньковский, а художник Райкин после карточной игры, затянувшейся до рассвета, идет домой, в неотопленную, неоплаченную мастерскую с протекающей крышей.

Не успев захлопнуть за собой дверь, он видит, как в ночных туфлях на босу ногу горбатый поэт Арон Шлойхем (с покорной улыбкой горбуна, с астмой и болями в почках), направляется под холодным дождем через двор в общее отхожее место, в котором нет ни сидения, ни водопровода. Художник Райкин ложится в измятую, нечистую, сырую постель и, докучаемый назойливым клопом, засыпает над чтением «Повелителя блох» Эрнеста-Амедея Гофмана.

Приложение

<АВТОБИОГРАФИЯ>

Юрий Павлович Анненков родился в 1892 году в Петропавловске на Камчатке*; учился в Петербурге, окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1908 года увлекся живописью и начал учиться в школе художника С. Зейденберга, затем у профессора Академии художеств Я. Ф. Ционглинского; по его совету Анненков в 1911 году уехал для занятий живописью в Париж.

Впервые выставил свои картины в 1913 году в Салоне Независимых Художников. В России выставлял картины на выставках «Современной русской живописи и рисунка», «Союза молодежи», «Мира искусства», в «Салоне Добычиной» и т. д.

Одновременно Анненков обращается к иллюстрации книг и к театральной декорации. Он постоянно сотрудничал в «Сатириконе», в журналах «Театр и искусство», «Отечество» (под редакцией Л. Андреева), «Красный милиционер», в «Синем журнале»; им сделаны иллюстрации ко многим книгам, в том числе к «Двенадцати» А. Блока, к книгам Горького, Замятина, Чуковского («Мойдодыр»), Вс. Иванова, К. Федина, Э. Синклера, Д. Лондона. В России им были сделаны декорации и костюмы ко многим театральным постановкам, включая пьесы «Нос» по Гоголю, «Самое главное» Н. Евреинова, «Собака садовника» Лопе де Вега, «Саламанская пещера» Сервантеса, «Гимн Рождеству» по Диккенсу, «Скверный анекдот» по Достоевскому, «Бунт машин» А. Толстого и т. д. Работа в театре сблизила его с режиссерами Урванцевым, Евреиновым, Петровым, Станиславским, Хохловым, Мейерхольдом, Сахновским, Балиевым. Анненков и сам выступает, как режиссер: в 1919 году он поставил, в своей инсценировке, «Первого винокура» по Л. Толстому, объединив на сцене актеров драмы, цирка и эстрады, — этот спектакль оказал значительное влияние на развитие «авангардного» театра, в первую очередь на работу режиссеров С. Радлова и В. Мейерхольда.

---

* Мистификация Анненкова: он родился в 1889 г. в Петропавловске Акмолинской обл. (ныне Казахстан), где его отец-народоволец отбывал в то время ссылку (*Прим. изд*.).

В 1920 году Анненков участвует (как режиссер — вместе с А. Кугелем, как декоратор — с М. Добужинским и В. Щуко) в создании первомайского массового зрелища — «Гимн освобожденному труду» (2.500 действующих лиц). В том же году — как режиссер (вместе с Н. Евреиновым, К. Петровым и А. Кугелем) и как автор декораций и костюмов в грандиозном зрелище — «Взятие Зимнего Дворца» (8.000 действующих лиц, 150.000 зрителей) на площади перед дворцом.

В 1921 году Анненков опубликовал, в журнале «Мир искусств», манифест «беспредметного» театра — «Театр до конца»; этот манифест был впоследствии переведен на французский, немецкий и итальянский языки и до настоящего времени сохраняет свое значение.

В 1920 году Анненков был избран профессором Академии художеств.

Много времени отдавал Анненков портретной живописи. Им были написаны портреты писателей, художников и других деятелей искусств — Н. Евреинова, И. Репина, В. Хлебникова, А. Лурье, М. Кузмина, Ф. Комиссаржевского, А. Ремизова, Г. Уэллса, М. Горького, В. Шкловского, А. Блока, А. Ахматовой, Г. Иванова, А. Бенуа, К. Чуковского, Е. Замятина, В. Ходасевича, Н. Альтмана, Асейдоры Дункан, Б. Пастернака, В. Маяковского, В. Щуко, Б. Пильняка, В. Пудовкина, А. Довженко, Э. Верхарна и многих других. Им написана также серия портретов «вождей революции»: В. Ленина, Л. Троцкого, Антонова-Овсеенко, А. Луначарско-Склянского, В. Зофа, Н. Муралова, А. Енукидзе, В. Полонского.

В 1924 и 1925 годах Анненков, как представитель СССР, участвовал в Международных художественных выставках в Венеции и в Париже, после чего отказался от возвращения в СССР и остался во Франции. Он выставлял свои картины в Салоне Независимых, Салоне Тюильри, Осеннем салоне, в Салоне новой реальности и на многих других выставках как во Франции, так и в Бельгии, Голландии, США и в других странах. В годы второй мировой войны Анненков окончательно порвал с предметной живописью, перейдя к абст-

ракции и все более развивая рельефную трехмерную живопись, оставив плоскостную двухмерную.

Продолжалась за границей и интенсивная театральная работа Анненкова: он создал декорации и костюмы ко многим постановкам разных театров, в том числе для балетов Б. Нижинской «Ревнивые комедианты», «Вариации Бетховена» и «Гамлет», для «Пиковой дамы» по Пушкину, для семи пьес Е. Ионеску, для шести пьес Жана Тардье и для многих других театральных постановок во Франции и в других странах. В качестве декоратора и рисовальщика костюмов, за границей он принял также участие в постановке 62-х кинофильмов; занят он работой и в телевидении. В свободное время не прекращает Анненков и занятие портретной живописью: за границей, по 1960 год, им сделаны портреты Леона Блюма, Леонида Красина, композиторов Артура Оннегера, Мориса Равеля, С. Прокофьева, писателей Андре Жида, Жана Жироду, И. Бабеля, А. Толстого, А. Барбюса, И. Эренбурга, М. Алданова, Жана Кокто, артистов Витторио де Сика, Жерара Филиппа, Пьера Брассера, Анны Павловой, Сергея Лифаря и многих других лиц.

Одновременно продолжает Анненков писать и по вопросам искусства, во французской, немецкой, итальянской и в русской зарубежной прессе. В 1951 году он выпустил книгу, на французском языке, о судьбах кино; в русской прессе им напечатаны воспоминания о М. Горьком, С. Есенине, А. Блоке, Б. Пастернаке, А. Бенуа и А. Ремизове; на французском языке — книга о Маяковском. Кроме того, под псевдонимом «Борис Темирязев», Анненков выступает и как беллетрист: им написаны романы «Повесть о пустяках», о России первой четверти века, «Рваная эпопея», о жизни эмиграции во Франции во время второй мировой войны, и другие произведения.

Примечания

Любовь Сеньки Пупсика

Впервые: *Звено* (Париж), 1927. № 222, май.

Рассказ, присланный под шекспировским девизом «We look before and after» («Гамлет», акт 4), победил на первом литературном конкурсе «Звена», опередив 11 номинантов, в том числе Г. Газданова.

Домик на 5-ой Рождественской

Впервые: *Современные записки* (Париж), 1928, № 37.

Сцены визита «знатного иностранца» и его встречи с «творческой интеллигенцией» из этого рассказа проясняют мемуары Анненкова «Дневник моих встреч: Цикл трагедий» (1966) – описывается визит Г. Уэллса (1920) и его встреча с писателями, учеными и художниками в петроградском Доме искусств. В воспоминаниях описание Уэллса значительно смягчено; речь о «котлетах и пирожных» произносит здесь А. Амфитеатров, с обвинениями обрушивается на Уэллса В. Шкловский.

Сны

Впервые: *Современные записки* (Париж), 1929, № 39.

Тяжести

Впервые: *Современные записки* (Париж), 1935. № 59; *там же,* 1937. № 64; Русские записки (Париж), 1938. № 3.

«Тяжести» был напечатаны тремя фрагментами (каждый с подзаголовком «Отрывок из романа») в парижских журналах «Современные записки» и «Русские записки». В конце текста автор именует эту вещь «повестью».
К героям «Тяжести» Анненков вновь вернулся в «Рваной эпопее», которую также именовал то романом, то повестью (опубликована в 1957-1960 гг.); вполне очевидно, что автору мыслилось некое единое произведение со сквозными персонажами. Из финальной части «Рваной эпопеи – повесть рассказывает о периоде Второй мировой войны и оккупации Парижа – мы узнаем о дальнейшей судьбе основных действующих лиц «Тяжести» (см. *Новый журнал*, 1960, № 61). Ксавье, ныне офицер инженерных войск, уезжает на линию Мажино; Зина Каплун «застревает» в Париже. Мурочка, беременная от архитектора Милютина, становится компаньонкой в бакалейной лавке; Милютин и Райкин уходят добровольцами на фронт. С началом немецкой оккупации Парижа картины Райкина уничтожаются. У танцовщицы Люка появляется любовник-гестаповец; немцы торжественно приветствуют Монику Геппенер в «замке под Руаном». Многие русские эмигранты охотно сотрудничают с фашистами. Но линии судеб оборваны: «Возможно, что где-то на юге Франции еще живет художник Райкин в привезенном с собою, неотделимом от него Париже. Возможно, что в плену, за колючей проволокой, смертельно тоскует Сережа Милютин. Автор боится, что ему никогда более не удастся встретиться с ними на этих страницах, и такая утрата для него особенно чувствительна».

<Автобиография>

Впервые в сб. *Старые – молодым* (Мюнхен, 1960).

–––––

Включенные в книгу произведения публикуются с исправлением очевидных опечаток; орфография и пунктуация, за исключением написания ряда имен и названий, приближены к современным нормам.

Оглавление

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

SALAMANDRA P.V.V.